

ДЖОВАННИ БОККАЧЧО,
ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА

РЕНЕССАНС.
ДЕКАМЕРОН.
СОНЕТЫ

Джованни Боккаччо

Ренессанс. Декамерон. Сонеты

Боккаччо Д.

Ренессанс. Декамерон. Сонеты / Д. Боккаччо — «Public Domain»,

«Ренессанс» переносит читателя в эпоху Возрождения – литературного, интеллектуального и художественного расцвета, зародившегося в Италии в 14 веке и распространившегося в дальнейшем по всей Европе. «Сонеты» – поэтическое произведение яркого представителя эпохи раннего Возрождения Франческо Петрарки, посвященные единственной любви всей его жизни – Лауре. «Декамерон» Джованни Боккаччо — величайший литературный памятник эпохи Возрождения, стоявший у истоков возникновения ренессансной культуры наряду с Петраркой и Данте. Сто новелл, рассказанные героями «Декамерона», будоражат умы и вызывают восхищение вот уже более шести веков.

© Боккаччо Д.

© Public Domain

Содержание

Фотоальбом	5
Джованни Боккаччо	23
Начинается книга,	23
Введение	24
День первый	26
Новелла первая	34
Новелла вторая	40
Новелла третья	42
Новелла четвертая	43
Новелла пятая	45
Новелла шестая	46
Новелла седьмая	47
Новелла восьмая	49
Новелла девятая	51
Новелла десятая	51
День второй	55
Новелла первая	55
Новелла вторая	57
Новелла третья	60
Конец ознакомительного фрагмента.	62

РЕНЕССАНС

Фотоальбом



Albrecht Durer, Suicide of Lucretia



Correggio, Jupiter and Io, 1531-32



Leonardo da Vinci, Madonna Litta



Leonardo da Vinci



Lucas Cranach the Elder, The Suicide of Lucretia, 1538



Lucas Cranach the Elder, The Three Graces, 1531



Lucas Cranach the Elder, Venus and Cupid, 1525



Madonna dei fusi, Леонардо да Винчи



Raphael Sanzio, La fornarina, 1518-1519



Raphael, Niccolini Cowper Madonna, 1508



Sandro Botticelli, Birth of Venus (detail), c. 1482



Titian, Flora, 1515



Боттичелли, Рождение Венеры. Фрагмент



Бронзино, Аньоло (Аньоло ди Козимо ди Мариано) (Флоренция 1502–1572)



Сандро Боттичелли. Рождение Венеры



Грехопадение и изгнание из Рая. Фреска свода Сикстинской капеллы. Микеланджело



Джорджоне, (1477–1510) Спящая Венера



Леонардо да Винчи, Леда



Рафаэль. Три грации

Джованни Боккаччо ДЕКАМЕРОН

Начинается книга,

называемая Декамерон, прозванная Principe Galeotto, в которой содержится сто новелл, рассказанных в течение десяти дней семью дамами и тремя молодыми людьми.

Введение

Соболезновать удрученным – человеческое свойство, и хотя оно пристало всякому, мы особенно ожидаем его от тех, которые сами нуждались в утешении и находили его в других. Если кто-либо ощущал в нем потребность и оно было ему отрадно и приносило удовольствие, я – из числа таковых. С моей ранней молодости и по сию пору я был воспламенен через меру высокою, благородною любовью, более, чем, казалось бы, приличествовало моему низменному положению, – если я хотел о том рассказать; и хотя знающие люди, до сведения которых это доходило, хвалили и ценили меня за то, тем не менее любовь заставила меня претерпевать многое, не от жестокости любимой женщины, а от излишней горячности духа, воспитанной неупорядоченным желанием, которое, не удовлетворяясь возможной целью, нередко приносило мне больше горя, чем бы следовало. В таком-то горе веселые беседы и посильные утешения друга доставили мне столько пользы, что, по моему твердому убеждению, они одни и причиной тому, что я не умер. Но по благоусмотрению Того, который, будучи сам бесконечен, поставил непреложным законом всему сущему иметь конец, моя любовь, – горячая паче других, которую не в состоянии была порвать или поколебать никакая сила намерения, ни совет, ни страх явного стыда, ни могущая последовать опасность, – с течением времени сама собою настолько ослабела, что теперь оставила в моей душе лишь то удовольствие, которое она обыкновенно приносит людям, не пускающимся слишком далеко в ее мрачные волны. Насколько прежде она была тягостной, настолько теперь, с удалением страданий, я ощущаю ее как нечто приятное. Но с прекращением страданий не удалась память о благодеяниях, оказанных мне теми, которые, по своему расположению ко мне, печалились о моих невзгодах; и я думаю, память эта исчезнет разве со смертью. А так как, по моему мнению, благодарность заслуживает, между всеми другими добродетелями, особой хвалы, а противоположное ей – порицания, я, дабы не показаться неблагодарным, решился теперь, когда я могу считать себя свободным, в возмат того, что сам получил, по мере возможности уготовить некое облегчение, если не тем, кто мне помог (они по своему разуму и счастью, может быть, в том и не нуждаются), то по крайней мере имеющим в нем потребу. И хотя моя поддержка, или, сказать лучше, утешение, окажется слабым для нуждающихся, тем не менее мне кажется, что с ним надлежит особенно обращаться туда, где больше чувствуется в нем необходимость, потому что там оно и пользы принесет больше, и будет более оценено. А кто станет отрицать, что такого рода утешение, каково бы оно ни было, приличнее предлагать прелестным дамам, чем мужчинам? Они от страха и стыда таят в нежной груди любовное пламя, а что оно сильнее явного, про то знают все, кто его испытал; к тому же связанные волею, капризами, приказаниями отцов, матерей, братьев и мужей, они большую часть времени проводят в тесной замкнутости своих покоев и, сидя почти без дела, желая и не желая в одно и то же время, питают различные мысли, которые не могут же быть всегда веселыми. Если эти мысли наведут на них порой грустное расположение духа, вызванное страстным желанием, оно, к великому огорчению, останется при них, если не удалят его новые разговоры; не говоря уже о том, что женщины менее выносливы, чем мужчины. Всего этого не случается с влюбленными мужчинами, как то легко усмотреть. Если их постигнет грусть или удручение мысли, у них много средств облегчить его и обойтись, ибо, по желанию, они могут гулять, слышать и видеть многое, охотиться за птицей и зверем, ловить рыбу, ездить верхом, играть или торговать. Каждое из этих занятий может привлечь к себе душу, всецело или отчасти, устранив от нее грустные мысли, по крайней мере на известное время, после чего, так или иначе, либо наступает утешение, либо умягчается печаль. Вот почему, желая отчасти исправить несправедливость фортуны, именно там поскупившейся на поддержку, где меньше было силы, – как то мы видим у слабых женщин, – я намерен сообщить на помощь и развлечение любящих (ибо остальные удовлетворяются иглой, веретеном и мотовилом) сто новелл, или,

как мы их назовем, басен, притч и историй, рассказанных в течение десяти дней в обществе семи дам и трех молодых людей в губительную пору прошлой чумы, и несколько песенок, спетых этими дамами для своего удовольствия. В этих новеллах встретятся забавные и печальные случаи любви и другие необычайные происшествия, приключившиеся как в новейшие, так и в древние времена. Читая их, дамы в одно и то же время получают и удовольствие от рассказанных в них забавных приключений, и полезный совет, поскольку они узнают, чего им следует избегать и к чему стремиться. Я думаю, что и то и другое обойдется не без умаления скуки; если, даст Бог, именно так и случится, да возблагодарят они Амура, который, освободив меня от своих уз, дал мне возможность послужить их удовольствию.

День первый

Начинается первый день Декамерона, в котором, после того как автор рассказал, по какому поводу собрались и беседовали выступающие впоследствии лица, под председательством Пампиней, рассуждают о чем кому заблагорассудится

Всякий раз, прелестные дамы, как я, размыслив, подумаю, насколько вы от природы сострадательны, я прихожу к убеждению, что вступление к этому труду покажется вам тягостным и грустным, ибо таким именно является начертанное в челе его печальное воспоминание о прошлой чумной смертности, скорбной для всех, кто ее видел или другим способом познал. Я не хочу этим отвратить вас от дальнейшего чтения, как будто и далее вам предстоит идти среди стенаний и слез: ужасное начало будет вам тем же, чем для путников неприступная, крутая гора, за которой лежит прекрасная, чудная поляна, тем более нравящаяся им, чем более было труда при восхождении и спуске. Как за крайнюю радость следует печаль, так бедствия кончаются с наступлением веселья, – за краткой грустью (говорю: краткой, ибо она содержится в немногих словах) последуют вскоре утеха и удовольствие, которые я вам наперед обещал и которых, после такого начала, никто бы и не ожидал, если бы его не предупредили. Сказать правду: если бы я мог достойным образом повести вас к желаемой мною цели иным путем, а не столь крутою тропой, я охотно так бы сделал; но так как нельзя было, не касаясь того воспоминания, объяснить причину, почему именно приключились события, о которых вы прочтете далее, я принимаюсь писать, как бы побужденный необходимостью.

Итак, скажу, что со времени благотворного вочеловечения Сына Божия минуло 1348 лет, когда славную Флоренцию, прекраснейший из всех итальянских городов, постигла смертоносная чума, которая, под влиянием ли небесных светил, или по нашим грехам посланная праведным гневом Божиим на смертных, за несколько лет перед тем открылась в областях востока и, лишив их бесчисленного количества жителей, безостановочно подвигаясь с места на место, дошла, разрастаясь плачевно, и до запада. Не помогали против нее ни мудрость, ни предусмотрительность человека, в силу которых город был очищен от нечистот людьми, нарочно для того назначенными, запрещено ввозить больных, издано множество наставлений о сохранении здоровья. Не помогали и умиленные моления, не однажды повторявшиеся, устроенные благочестивыми людьми, в процессиях или другим способом. Приблизительно к началу весны означенного года болезнь начала проявлять свое плачевное действие страшным и чудным образом. Не так, как на востоке, где кровотечение из носа было явным знамением неминуемой смерти, – здесь в начале болезни у мужчин и женщин показывались в пахах или под мышками какие-то опухоли, разраставшиеся до величины обыкновенного яблока или яйца, одни более, другие менее; народ называл их *gavoccioli* (чумными бубонами); в короткое время эта смертельная опухоль распространялась от указанных частей тела безразлично и на другие, а затем признак указанного недуга изменялся в черные и багровые пятна, появлявшиеся у многих на руках и бедрах и на всех частях тела, у иных большие и редкие, у других мелкие и частые. И как опухоль являлась вначале, да и позднее оставалась вернейшим признаком близкой смерти, таковым были пятна, у кого они выступали. Казалось, против этих болезней не помогали и не приносили пользы ни совет врача, ни сила какого бы то ни было лекарства: таково ли было свойство болезни, или невежество врачующих (которых, за вычетом ученых-медиков, явилось множество, мужчин и женщин, не имевших никакого понятия о медицине) не открыло ее причин, а потому не находило подходящих средств, – только немногие выздоравливали и почти все умирали на третий день после появления указанных признаков, одни скорее, другие позже, –

большинство без лихорадочных или других явлений. Развитие этой чумы было тем сильнее, что от больных, через общение с здоровыми, она переходила на последних, совсем так, как огонь охватывает сухие или жирные предметы, когда они близко к нему подвинуты. И еще большее зло было в том, что не только беседа или общение с больными переносило на здоровых недуг и причину общей смерти, но, казалось, одно прикосновение к одежде или другой вещи, которой касался или пользовался больной, передавало болезнь дотрагивавшемуся. Дивным покажется, что я теперь скажу, и если б того не видели многие и я своими глазами, я не решился бы тому поверить, не то что написать, хотя бы и слышал о том от человека, заслуживающего доверия. Скажу, что таково было свойство этой заразы при передаче ее от одного к другому, что она приставала не только от человека к человеку, но часто видали и нечто большее: что вещь, принадлежавшая больному или умершему от такой болезни, если к ней прикасалось живое существо не человеческой породы, не только заражала его недугом, но и убивала в непродолжительное время. В этом, как сказано выше, я убедился собственными глазами, между прочим, однажды на таком примере: лохмотья бедняка, умершего от такой болезни, были выброшены на улицу; две свиньи, набредя на них, по своему обычаю, долго теребили их рылом, потом зубами, мотая их со стороны в сторону, и по прошествии короткого времени, закружившись немного, точно поев отравы, упали мертвые на злополучные тряпки.

Такие происшествия и многие другие, подобные им и более ужасные, порождали разные страхи и фантазии в тех, которые, оставшись в живых, почти все стремились к одной, жестокой, цели: избегать больных и удаляться от общения с ними и их вещами; так поступая, воображали сохранить себе здоровье. Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от всех излишеств сильно помогают борьбе со злом; собравшись кружками, они жили, отделившись от других, укрываясь и запираясь в домах, где не было больных и им самим было удобнее; употребляя с большой умеренностью изысканнейшую пищу и лучшие вина, избегая всякого излишества, не позволяя кому бы то ни было говорить с собою и не желая знать вестей извне – о смерти или больных, – они проводили время среди музыки и удовольствий, какие только могли себе доставить. Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять, по возможности, всякому желанию, смеяться и издеваться над всем, что приключается – вот вернейшее лекарство против недуга. И как говорили, так, по мере сил, приводили и в исполнение, днем и ночью странствуя из одной таверны в другую, выпивая без удержу и меры, чаще всего устраивая это в чужих домах, лишь бы прослышали, что там есть нечто им по вкусу и в удовольствие. Делать это было им легко, ибо все предоставили и себя и свое имущество на произвол, точно им больше не жить; оттого большая часть домов стала общим достоянием, и посторонний человек, если вступал в них, пользовался ими так же, как пользовался бы хозяин. И эти люди, при их скотских стремлениях, всегда, по возможности, избегали больных. При таком удрученном и бедственном состоянии нашего города почтенный авторитет как Божеских, так и человеческих законов почти упал и исчез, потому что их служители и исполнители, как и другие, либо умерли, либо хворали, либо у них осталось так мало служилого люда, что они не могли отправлять никакой обязанности; почему всякому позволено было делать все, что заблагорассудится.

Многие иные держались среднего пути между двумя, указанными выше: не ограничивая себя в пище, как первые, не выходя из границ в питье и других излишествах, как вторые, они пользовались всем этим в меру и согласно потребностям, не запирались, а гуляли, держа в руках кто цветы, кто пахучие травы, кто какое другое душистое вещество, которое часто обоняли, полагая полезным освежать мозг такими ароматами, – ибо воздух казался зараженным и зловонным от запаха трупов, больных и лекарств. Иные были более сурового, хотя, быть может, более верного мнения, говоря, что против зараз нет лучшего средства, как бегство перед ними. Руководясь этим убеждением, не заботясь ни о чем, кроме себя, множество мужчин и женщин покинули родной город, свои дома и жилья, родственников и имущества и направились за

город, в чужие или свои поместья, как будто гнев Божий, каравший неправедных людей этой чумой, не взыщет их, где бы они ни были, а намеренно обрушится на оставшихся в стенах города, точно они полагали, что никому не остаться там в живых и настал его последний час.

Хотя из этих людей, питавших столь различные мнения, и не все умирали, но не все и спасались; напротив, из каждой группы заболевали многие и повсюду, и как сами они, пока были здоровы, давали в том пример другим здоровым, они изнемогали, почти совсем покинутые. Не станем говорить о том, что один горожанин избегал другого, что сосед почти не заботился о соседе, родственники посещали друг друга редко, или никогда, или виделись издали: бедствие воспитало в сердцах мужчин и женщин такой ужас, что брат покидал брата, дядя племянника, сестра брата и нередко жена мужа; более того и невероятнее: отцы и матери избегали навещать своих детей и ходить за ними, как будто то были не их дети. По этой причине мужчинам и женщинам, которые заболевали, а их количества не исчислить, не оставалось другой помощи, кроме милосердия друзей (таковых было немного), или корыстолюбия слуг, привлеченных большим, не по мере жалованьем; да и тех становилось не много, и были то мужчины и женщины грубого нрава, непривычные к такого рода уходу, ничего другого не умевшие делать, как подавать больным, что требовалось, да присмотреть, когда они кончались; отбывая такую службу, они часто вместе с заработком теряли и жизнь. Из того, что больные бывали покинуты соседями, родными и друзьями, а слуг было мало, развилась привычка, дотоле неслыханная, что дамы красивые, родовитые, заболевая, не стеснялись услугами мужчины, каков бы он ни был, молодой или нет, без стыда обнажая перед ним всякую часть тела, как бы то сделали при женщине, лишь бы того потребовала болезнь – что, быть может, стало впоследствии причиной меньшего целомудрия в тех из них, которые исцелялись от недуга. Умирали, кроме того, многие, которые, быть может, и выжили бы, если б им подана была помощь. От всего этого и от недостаточности ухода за больными, и от силы заразы, число умиравших в городе днем и ночью было столь велико, что страшно было слышать о том, не только что видеть. Оттого, как бы по необходимости, развились среди горожан, оставшихся в живых, некоторые привычки, противоположные прежним. Было в обычае (как то видим и теперь), что родственницы и соседки собирались в дому покойника и здесь плакали вместе с теми, которые были ему особенно близки; с другой стороны, у дома покойника сходились его родственники, соседи и многие другие горожане и духовенство, смотря по состоянию усопшего, и сверстники несли его тело на своих плечах, в погребальном шествии со свечами и пением, в церковь, избранную им еще при жизни. Когда сила чумы стала расти, все это было заброшено совсем или по большей части, а на место прежних явились новые порядки. Не только умирали без сходбища многих жен, но много было и таких, которые кончались без свидетелей, и лишь очень немногим доставались в удел умильные сетования и горькие слезы родных; вместо того, наоборот, в ходу были смех и шутки и общее веселье: обычай, отлично усвоенный, в видах здоровья, женщинами, отложившими большею частью свойственное им чувство сострадания. Мало было таких, тело которых провожали бы до церкви более десяти или двенадцати соседей; и то не почтенные, уважаемые граждане, а род могильщиков из простонародья, называвших себя беккинами и получавших плату за свои услуги: они являлись при гробе и несли его торопливо и не в ту церковь, которую усопший выбрал до смерти, а чаще в ближайшую, несли при немногих свечах или и вовсе без них, за четыремя или шестью клириками, которые, не беспокоя себя слишком долгой или торжественной службой, с помощью указанных беккинов клали тело в первую попавшуюся незанятую могилу. Мелкий люд, а может быть, и большая часть среднего сословия представляли гораздо более плачевное зрелище: надежда либо нищета побуждали их чаще всего не покидать своих домов и соседства; заболевая ежедневно тысячами, не получая ни ухода, ни помощи ни в чем, они умирали почти без изъятия. Многие кончались днем или ночью на улице; иные, хотя и умирали в домах, давали о том знать соседям не иначе, как запахом своих разлагавшихся тел. И теми и другими умиравшими повсюду все было полно.

Соседи, движимые столько же боязнью заражения от трупов, сколько и состраданием к умершим, поступали большею частью на один лад: сами либо с помощью носильщиков, когда их можно было достать, вытаскивали из домов тела умерших и клали у дверей, где всякий, кто прошелся бы, особенно утром, увидел бы их без числа; затем распоряжались доставлением носилок, но были и такие, которые за недостатком в них клали тела на доски. Часто на одних и тех же носилках их было два или три, но случалось не однажды, а таких случаев можно бы насчитать множество, что на одних носилках лежали жена и муж, два или три брата, либо отец и сын и т. д. Бывало также не раз, что за двумя священниками, шествовавшими с крестом перед покойником, увяжутся двое или трое носилок с их носильщиками следом за первыми, так что священникам, думавшим хоронить одного, приходилось хоронить шесть или восемь покойников, а иногда и более. При этом им не оказывали почета ни слезами, ни свечой, ни сопутствием, наоборот, дело дошло до того, что об умерших людях думали столько же, сколько теперь об околевшей козе. Так оказалось воочию, что если обычный ход вещей не научает и мудрецов переносить терпеливо мелкие и редкие утраты, то великие бедствия делают даже недалеких людей рассудительными и равнодушными. Так как для большого количества тел, которые, как сказано, каждый день и почти каждый час свозились к каждой церкви, не хватало освященной для погребения земли, особенно если бы по старому обычаю всякому захотели отводить особое место, то на кладбищах при церквях, где все было переполнено, вырывали громадные ямы, куда сотнями клали приносимые трупы, нагромождая их рядами, как товар на корабле, и слегка засыпая землей, пока не доходили до краев могилы.

Не передавая далее во всех подробностях бедствия, приключившиеся в городе, скажу, что, если для него година была тяжелая, она ни в чем не пощадила и пригородной области. Если оставить в стороне замки (тот же город в уменьшенном виде), то в разбросанных поместьях и на полях жалкие и бедные крестьяне и их семьи умирали без помощи медика и ухода прислуги по дорогам, на пашне и в домах, днем и ночью безразлично, не как люди, а как животные. Вследствие этого и у них, как у горожан, нравы разнуздались, и они перестали заботиться о своем достоянии и делах; наоборот, будто каждый наступивший день они чаяли смерти, они старались не уготовлять себе будущие плоды от скота и земель и своих собственных трудов, а уничтожать всяким способом то, что уже было добыто. Оттого ослы, овцы и козы, свиньи и куры, даже преданнейшие человеку собаки, изгнанные из жилья, плутали без запрета по полям, на которых хлеб был заброшен, не только что не убран, но и не сжат. И многие из них, словно разумные, покормившись вдоволь в течение дня, на ночь возвращались сытые, без понукания пастуха, в свои жилища.

Но оставляя пригородную область и снова обращаясь к городу, можно ли сказать что-либо больше того, что по суровости неба, а быть может, и по людскому жестокосердию между мартом и июлем, — частью от силы чумного недуга, частью потому, что вследствие страха, убившего здоровых, уход за больными был дурной и их нужды не удовлетворялись, — в стенах города Флоренции умерло, как полагают, около ста тысяч человек, тогда как до этой смертности, вероятно, и не предполагали, что в городе было столько жителей. Сколько больших дворцов, прекрасных домов и роскошных помещений, когда-то полных челяди, господ и дам, опустели до последнего служителя включительно! Сколько именитых родов, богатых наследий и славных состояний осталось без законного наследника! Сколько крепких мужчин, красивых женщин, прекрасных юношей, которых не то что кто-либо другой, но Гален, Гиппократ и Эскулап признали бы вполне здоровыми, утром обедали с родными, товарищами и друзьями, а на следующий вечер ужинали со своими предками на том свете!

Мне самому тягостно так долго останавливаться на этих бедствиях; поэтому, опустив в рассказе о них то, что можно, скажу, что в то время, как наш город при таких обстоятельствах почти опустел, случилось однажды (как я потом слышал от верного человека), что во вторник утром в досточтимом храме Санта Мария Новелла, когда там почти никого не было, семь моло-

дых дам, одетых, как было прилично по времени, в печальные одежды, простояв божественную службу, сошлись вместе; все они были связаны друг с другом дружбой, или соседством, либо родством; ни одна не перешла двадцативосьмилетнего возраста, и ни одной не было меньше восемнадцати лет; все разумные и родовитые, красивые, добрых нравов и сдержанно-приветливые. Я назвал бы их настоящими именами, если б у меня не было достаточного повода воздержаться от этого: я не желаю, чтобы в будущем какая-нибудь из них устыдилась за следующие повести, рассказанные либо слышанные ими, ибо границы дозволенных удовольствий ныне более стеснены, чем в ту пору, когда в силу указанных причин они были свободнейшими не только по отношению к их возрасту, но и к гораздо более зрелому; я не хочу также, чтобы завистники, всегда готовые укорить человека похвальной жизни, получили повод умалить в чем бы то ни было честное имя достойных женщин своими непристойными речами. А для того, чтобы можно было понять, не смешивая, что каждая из них будет говорить впоследствии, я намерен назвать их именами, отвечающими всецело или отчасти их качествам. Из них первую и старшую по летам назовем Пампинеей, вторую – Фьямметтой, третью – Филоменой, четвертую – Емилией, затем Лауреттой – пятую, шестую – Неифилой, последнюю, не без причины, Елизой. Все они, собравшись в одной части церкви, не с намерением, а случайно, сели как бы кружком и, после нескольких вздохов, оставив сказывание «Отче наш», вступили во многие и разнообразные беседы о злобе дня. По некотором времени, когда остальные замолчали, Пампинее так начала говорить:

– Милые мои дамы, вы, вероятно, много раз слышали, как и я, что пристойное пользование своим правом никому не приносит вреда. Естественное право каждого рожденного – поддерживать, сохранять и защищать, насколько возможно, свою жизнь; это так верно, что иногда, случалось, убивали без вины людей, лишь бы сохранить себе жизнь. Если то допускают законы, пекущиеся о благоустройстве всех смертных, то не подобает ли тем более нам и всякому другому принимать, не во вред никому, доступные нам меры к сохранению нашей жизни? Как соображу я наше поведение нынешним утром, да и во многие прошлые дни, и подумаю, как и о чем мы беседовали, я убеждаюсь, да и вы подобно мне, что каждая из нас боится за себя. Не это удивляет меня, а то, что при нашей женской впечатлительности мы не ищем никакого противодействия тому, чего каждая из нас страшится по праву. Кажется мне, мы живем здесь как будто потому, что желаем или обязаны быть свидетельницами, сколько мертвых тел отнесено на кладбище; либо слышать, поют ли здешние монахи, число которых почти свелось в ничто, свою службу в положенные часы; доказывать своей одеждой всякому приходящему качество и количество наших бед. Выйдя отсюда, мы видим, как носят покойников или больных; видим людей, когда-то осужденных властью общественных законов на изгнание за их проступки, неистово мечущихся по городу, точно издеваясь над законами, ибо они знают, что их исполнители умерли либо больны; видим, как подонки нашего города, под названием беккинов, упивающиеся нашей кровью, ездят и бродят повсюду на мучение нам, в бесстыдных песнях укоряя нас в нашей беде. И ничего другого мы не слышим, как только: такие-то умерли, те умирают; всюду мы услышали бы жалобный плач – если бы были на то люди. Вернувшись домой (не знаю, бывает ли с вами то же, что со мною), я, не находя там из большой семьи никого, кроме моей служанки, прихожу в трепет и чувствую, как у меня на голове поднимаются волосы; куда бы я ни пошла и где бы ни остановилась, мне представляются тени усопших, не такие, каковыми я привыкла их видеть, и пугающие меня страшным видом, неизвестно откуда в них явившимся. Вот почему и здесь, и в других местах, и дома я чувствую себя нехорошо, тем более что, мне кажется, здесь, кроме нас, не осталось никого, у кого, как у нас, есть и кровь в жилах, и готовое место убежища. Часто я слышала о людях (если таковые еще остались), которые, не разбирая между приличным и недозволенным, руководясь лишь вожделением, одни или в обществе, днем и ночью совершают то, что приносит им наибольшее удовольствие. И не только свободные люди, но и монастырские заключенники, убедив себя, что им прилично

и пристало делать то же, что и другим, нарушив обет послушания и отдавшись плотским удовольствиям, сделались распущенными и безнравственными, надеясь таким образом избежать смерти. Если так (а это очевидно), то что же мы здесь делаем? Чего ожидаемся? О чем грезим? Почему мы безучастнее и равнодушнее к нашему здоровью, чем остальные горожане? Считаем ли мы себя менее ценными, либо наша жизнь прикреплена к телу более крепкой цепью, чем у других, и нам нечего заботиться о чем бы то ни было, что бы могло повредить ей? Но мы заблуждаемся, мы обманываем себя; каково же наше неразумие, если мы так именно думаем! Стоит нам только вспомнить, сколько и каких молодых людей и женщин похитила эта жестокая зараза, чтобы получить тому явное доказательство. И вот для того, чтобы, по малодушью или беспечности, нам не попасться в то, чего мы могли бы при желании избежать тем или другим способом, я считала бы за лучшее (не знаю, разделите ли вы мое мнение), чтобы мы, как есть, покинули город, как то прежде нас делали и еще делают многие другие, и, избегая паче смерти недостойных примеров, отправились честным образом в загородные поместья, каких у каждой из нас множество, и там, не переходя ни одним поступком за черту благоразумия, предались тем развлечениям, утехе и веселью, какие можем себе доставить. Там слышно пение птичек, виднеются зеленеющие холмы и долины, поля, на которых жатва волнуется, что море, тысячи пород деревьев и небо более открытое, которое, хотя и гневается на нас, тем не менее не скрывает от нас своей вечной красы; все это гораздо прекраснее на вид, чем пустые стены нашего города. К тому же там и воздух прохладнее, большое обилие всего необходимого для жизни в такие времена и менее неприятностей. Ибо если и там умирают крестьяне, как здесь горожане, неприятного впечатления потому менее, что дома и жители встречаются реже, чем в городе. С другой стороны, здесь, если я не ошибаюсь, мы никого не покидаем, скорее, поистине, мы сами можем почитать себя оставленными, ибо наши близкие, унесенные смертью или избегая ее, оставили нас в таком бедствии одних, как будто мы были им чужие. Итак, никакого упрека нам не будет, если мы последуем этому намерению; горе и неприятность, а может быть, и смерть могут приключиться, коли не последуем. Поэтому, если вам заблагорассудится, я полагаю, мы хорошо и как следует поступим, если позовем своих служанок и, велев им следовать за нами с необходимыми вещами, будем проводить время сегодня здесь, завтра там, доставляя себе те удовольствия и развлечения, какие возможны по времени, и пребывая таким образом до тех пор, пока не увидим (если только смерть не постигнет нас ранее), какой исход готовит небо этому делу. Вспомните, наконец, что нам не менее пристало удалиться отсюда с достоинством, чем многим другим оставаться здесь, недостойным образом проводя время.

Выслушав Пампинею, другие дамы не только похвалили ее совет, но, желая последовать ему, начали было частным образом промеж себя толковать о способах, как будто, выйдя отсюда, им предстояло тотчас же отправиться в путь. Но Филомена, как женщина рассудительная, сказала: – Хотя все, что говорила Пампинея, очень хорошо, не следует так спешить, как вы, видимо, желаете. Вспомните, что все мы – женщины, и нет между нами такой юной, которая не знала бы, каково одним женщинам жить своим умом и как они устраиваются без присмотра мужчины. Мы подвижны, сварливы, подозрительны, малодушны и страшливы; вот почему я сильно опасаюсь, как бы, если мы не возьмем иных руководителей, кроме нас самих, наше общество не распалось слишком скоро и с большим ущербом для нашей чести, чем было бы желательно. Потому хорошо бы позаботиться о том прежде, чем начать дело. – Тогда сказала Елиза: – Справедливо, что мужчина – глава женщины и что без мужского руководства наши начинания редко приходят к похвальному концу. Но где нам достать таких мужчин? Каждая из нас знает, что большая часть ее ближних умерли, другие, оставшиеся в живых, бегут, собравшись кружками, кто сюда, кто туда, мы не знаем, где они; бегут от того же, чего желаем избежать и мы. Просить посторонних было бы неприлично; потому, если мы хотим себе благоуспехания, надо найти способ так устроиться, чтобы не последовало неприятности и стыда там, где мы ищем веселья и покоя.

Пока дамы пребывали в таких беседах, в церковь вошли трое молодых людей, из которых самому юному было, однако, не менее двадцати пяти лет и в которых ни бедствия времени, ни утраты друзей и родных, ни боязнь за самих себя не только не погасили, но и не охладили любовного пламени. Из них одного звали Памфило, второго – Филострато, третьего – Дионео; все они были веселые и образованные люди, а теперь искали, как высшего утешения в такой общей смуте, повидать своих дам, которые случайно нашлись в числе упомянутых семи, тогда как из остальных иные оказались в родстве с некоторыми из юношей. Они увидели дам не скорее, чем те заметили их, почему Пампиней заговорила, улыбаясь: – Видно, судьба благоприятствует нашим начинаниям, послав нам этих благоразумных и достойных юношей, которые будут нам руководителями и слугами, если мы не откажемся принять их на эту должность.

Неифила, лицо которой зарделось от стыда, ибо она была любима одним из юношей, сказала: – Боже мой, Пампиней, подумай, что ты говоришь! Я знаю наверно, что ни об одном из них, кто бы он ни был, нельзя ничего сказать, кроме хорошего, считаю их годными на гораздо большее дело, чем это, и думаю, что не только нам, но и более красивым и достойным, чем мы, их общество было бы приятно и почетно. Но, так как хорошо известно, что они влюблены в некоторых из нас, я боюсь, чтобы не последовало, без нашей или их вины, злой славой или нареканий, если мы возьмем их с собою. – Сказала тогда Филомена: – Все это ничего не значит: лишь бы жить честно и не было у меня угрызений совести, а там пусть говорят противное, Господь и правда возьмут за меня оружие. Если только они расположены пойти, мы вправду могли бы сказать, как Пампиней, что судьба благоприятствует нашему путешествию.

Услышав эти ее речи, другие девушки не только успокоились, но и с общего согласия решили позвать молодых людей, рассказать им свои намерения и попросить их, как одолжения, сопровождать их в путешествии. Вследствие этого, не теряя более слов и поднявшись, Пампиней, приходившаяся родственницей одному из юношей, направилась к ним, стоявшим и глядевшим на дам; весело поздоровавшись и объяснив свое намерение, она попросила их от лица всех не отказать сопутствовать им – в чистых и братских помыслах. Молодые люди подумали сначала, что над ними насмеются; убедившись, что Пампиней говорит серьезно, они с радостью ответили, что готовы, и, не затягивая дела, прежде чем разойтись, сговорились, что им предстояло устроить для путешествия. Велев надлежащим образом приготовить все необходимое и наперед послав оповестить туда, куда затеяли идти, на следующее утро, то есть в среду, на рассвете, дамы с несколькими прислужницами и трое молодых людей с тремя слугами, выйдя из города, пустились в путь и не прошли более двух малых миль, как прибыли к месту, в котором решено было расположиться на первый раз. Оно лежало на небольшом пригорке, со всех сторон несколько удаленном от дорог, полном различных кустарников и растений в зелени, приятных для глаз. На вершине возвышался палаццо с прекрасным, обширным двором внутри, с открытыми галереями, залами и покоями, прекрасными как в отдельности, так и в общем, украшенными замечательными картинами; кругом полянки и прелестные сады, колодцы свежей воды и погреба, полные дорогих вин – что более пристало их знатокам, чем умеренным и скромным дамам. К немалому своему удовольствию, общество нашло к своему прибытию все выметенным; в покоях стояли приготовленные постели, все устлано цветами, какие можно было достать по времени года, и тростником. Когда по приходе все сели, Дионео, отличавшийся перед всеми другими веселостью и остроумными выходками, обратился к дамам: – Ваш ум более, чем наша находчивость, привел нас сюда; я не знаю, что вы намерены делать с вашими мыслями; свои я оставил за воротами города, когда, недавно тому назад, вышел из них вместе с вами; поэтому либо приготовьтесь веселиться, хохотать и петь вместе со мною (насколько, разумеется, приличествует вашему достоинству), либо пустите меня вернуться к своим мыслям в постигнутый бедствиями город. – Весело отвечала ему Пампиней, как будто и она точно так же отогнала от себя свои мысли: – Ты прекрасно сказал, Дионео, будем жить весело, не по другой же причине мы убежали от скорбей. Но так как всё, не знающее

меры, длится недолго, я, начавшая беседы, приведшие к образованию столь милого общества, желаю, чтобы наше веселье было продолжительным, и потому полагаю необходимым нам всем согласиться, чтобы между нами был кто-нибудь главным, которого мы почитали бы и слушались как набольшего и все мысли которого были бы направлены к тому, чтобы нам жилось весело. Но для того чтоб каждый мог испытать как бремя заботы, так и удовольствие почета, и при выборе из тех и других никто, не испытав того и другого, не ощущал зависти, я полагаю, чтобы каждому из нас, по очереди, присваивались на день и бремя, и честь: пусть первый будет избран всеми нами, последующие назначаемы, как приблизится время вечере, по усмотрению того или той, кто в тот день был старшим; этот назначенный пусть все устраивает и, на время своего начальства, располагает по своему произволу местом пребывания и распорядком нашей жизни.

Эти речи в высшей степени понравились, и Пампинея была единогласно избрана на первый день, тогда как Филомена, часто слышавшая в разговорах, как почетны листья лавра и сколько чести они доставляют достойно увенчанным ими, быстро подбежала к лавровому дереву и, сорвав несколько веток, сделала прекрасный, красивый венок и возложила его на Пампинею. С тех пор, пока держалось их общество, венок был для всякого другого знаком королевской власти или старшинства.

Став королевой, Пампинея велела всем умолкнуть и, распорядившись позвать слуг трех юношей и своих четырех служанок, среди общего молчания сказала: – Для того чтоб мне первой подать вам пример, каким образом наше общество, преуспевая в порядке и удовольствии и без зазора, может существовать и держаться, пока нам заблагорассудится, я, во-первых, назначаю Пармено, слугу Дионео, моим сенешалем, поручая ему заботиться и печься о челяди и столовой. Сирис, слуга Памфило, пусть будет нашим расходчиком и казначеем, повинуюсь приказаниям Пармено. Тиндаро будет при Филострато и двух других молодых людях, прислуживая им в их покоях, когда его товарищи, отвлеченные своими обязанностями, не могли бы этому отдался. Моя служанка Мизия и Личиска, прислужница Филомены, будут постоянно при кухне, тщательно заботясь о приготовлении кушаний, какие закажет им Пармено. Кимера и Стратилия, горничные Лауретты и Фьямметты, будут, по моему приказанию, убирать дамские комнаты и наблюдать за чистотою покоев, где мы будем собираться; всякому вообще дорожающему нашим расположением мы предъявляем наше желание и требование, чтобы, куда бы он ни пошел, откуда бы ни возвратился, что бы ни слышал или видел, он воздержался от сообщения нам каких-либо известий извне, кроме веселых. – Отдав вкратце эти приказания, встретившие общее сочувствие, Пампинея встала и весело сказала: – Здесь у нас сады и поляны и много других приятных мест, пусть каждый гуляет в свое удовольствие, но лишь только ударит третий час, пусть будет здесь на месте, чтобы нам можно было обедать, пока прохладно.

Когда новая королева отпустила таким образом веселое общество, юноши и прекрасные дамы тихо направились по саду, разговаривая о приятных вещах, плетя венки из различных веток и любовно распевая. Проведя таким образом время, пока настал срок, назначенный королевой, и вернувшись домой, они убедились, что Пармено ревностно принялся за исполнение своей обязанности, ибо, вступив в залу нижнего этажа, они увидели столы, накрытые белоснежными скатертями, чары блестели как серебро и все было усеяно цветами терновника. После того как по распоряжению королевы подали воду для омовения рук, все пошли к местам, назначенным Пармено. Явились тонко приготовленные кушанья и изысканные вина, и, не теряя времени и слов, трое слуг принялись служить при столе; и так как все было хорошо и в порядке устроено, все пришли в отличное настроение и обедали среди приятных шуток и веселья. Когда убрали со стола, королева велела принести инструменты, так как все дамы, да и юноши умели плясать, а иные из них играть и петь; по приказанию королевы Дионео взял лютню, Фьямметта – виолу, и оба стали играть прелестный танец, а королева, отослав прислугу обедать, составила вместе с другими дамами и двумя молодыми людьми круг и принялась тихо ходить в круговой

пляске; когда она кончилась, начали петь хорошенькие, веселые песни. Так провели они время, пока королеве не показалось, что пора отдохнуть; когда она всех отпустила, трое юношей удалились в свои отделенные от дамских покои, где нашли хорошо приготовленные постели и все было полно цветов, как и в зале; удалились также и дамы и, раздевшись, пошли отдохнуть.

Только что пробил девятый час, как королева, поднявшись, подняла и других дам, а также и молодых людей, утверждая, что долго спать днем вредно. И вот все направились к лужайке с высокой зеленой травой, куда солнце не доходило ни с какой стороны. Веял мягкий ветерок; когда по приказанию королевы все уселись кругом на зеленой траве, она сказала: – Вы видите, солнце еще высоко и жар стоит сильный, только и слышны что цикады на оливковых деревьях; пойти куда-нибудь было бы несомненно глупо. Здесь в прохладе хорошо, есть шашки и шахматы, и каждый может доставить себе удовольствие, какое ему более по нраву. Но если бы вы захотели последовать моему мнению, мы провели бы жаркую часть дня не в игре, в которой по необходимости состояние духа одних портится, без особого удовольствия других, либо смотрящих на нее, – а в рассказах, что может доставить удовольствие слушающим одного рассказчика. Вы только что успеете рассказать каждый какую-нибудь повесть, как солнце уже будет на закате, жар спадет, и мы будем в состоянии пойти в наше удовольствие, куда нам захочется. Если то, что я предложила, вам нравится (а я готова следовать вашему желанию), так и сделаем; если нет, то пусть каждый до вечернего часа делает, что ему угодно. – И дамы, и мужчины равно высказались за рассказы. – Коли вам это нравится, – сказала королева, – то я решаю, чтобы в этот первый день каждому вольно было рассуждать о таких предметах, о каких ему заблагорассудится.

И, обратившись к сидевшему по правую руку Памфило, она любезно попросила его начать рассказы какой-нибудь своей новеллой. Услышав приказ, Памфило начал, при общем внимании, таким образом.

Новелла первая

Сэр Чаппеллетто обманывает лживой исповедью благочестивого монаха и умирает; негодяй при жизни, по смерти признан святым и назван San Ciappelletto

– Милые дамы! За какое бы дело ни принимался человек, ему достоин начинать его во чудесное и святое имя Того, кто был Создателем всего сущего. Потому и я, на которого первого выпала очередь открыть наши беседы, хочу рассказать об одном из чудных Его начинаний, дабы, услышав о нем, наша надежда на Него утвердилась, как на незыблемой почве, и Его имя восхвалено было нами во все дни. Известно, что все существующее во времени – преходяще и смертно, исполнено в самом себе и вокруг скорби, печали и труда, подвержено бесконечным опасностям, которые мы, живущие в нем и составляющие его часть, не могли бы ни вынести, ни избежать, если бы особая милость Божия не давала нам на то силы и предусмотрительности. Нечего думать, что эта милость нисходит к нам и пребывает в нас за наши заслуги, а дается она по Его собственной благости и молитвами тех, кто, подобно нам, были смертными людьми, но, следуя при жизни Его велениям, теперь стали вместе с Ним вечными и блаженными. К ним, как к заступникам, знающим по опыту нашу слабость, мы и обращаемся, моля их о наших нуждах, может быть, не осмеливаясь возносить наши молитвы к такому судии, как Он. Тем больше мы признаем Его милосердие к нам, что, при невозможности проникнуть смертным оком в тайны божественных помыслов, нередко случается, что, введенные в заблуждение молвой, такого мы избираем перед Его величием заступника, который навеки Им осужден; а, несмотря на это, Он, для которого нет тайны, обращая более внимания на чистосердечие молящегося, чем на его невежество или осуждение призываемого, внимает молящим, как будто призываемый ими удо-

стоился перед Его лицом спасения. Все это ясно будет из новеллы, которую я хочу рассказать вам: я говорю «ясно» с точки зрения человеческого понимания, не божественного промысла.

Рассказывают о Мушьятто Францези, что, когда из богатого и именитого купца он стал кавалером и собирался поехать в Тоскану вместе с Карлом Безземельным, братом французского короля, вызванным и побужденным к тому папой Бонифацием, он увидел, что дела его там и здесь сильно запутаны, как то нередко у купцов, и что распутать их не легко и не скоро, и потому он решил поручить ведение их нескольким лицам. Все дела он устроил; только одно у него осталось сомнение: где ему отыскать человека, способного взыскать его долги с некоторых бургундцев? Причина сомнения была та, что он знал бургундцев за людей охочих до ссоры, негодных и не держащих слова, и он не в состоянии был представить себе человека настолько коварного, что он мог бы с уверенностью противопоставить его коварству бургундцев. Долго он думал об этом вопросе, когда пришел ему на память некий сэр Чеппарелло из Прато, часто хаживавший к нему в Париже. Этот Чеппарелло был небольшого роста, одевался чистенько, а так как французы, не понимая, что означает Чеппарелло, думали, что это то же, что на их языке chapel, то есть венок, то они и прозвали его не capello, а *Ciappelletto*, потому что, как я уже сказал, он был мал ростом. Так его всюду и знали за Чаппеллетто, и лишь немногие за сэра Чеппарелло. Жизнь этого Чаппеллетто была такова: был он нотариусом, и для него было бы величайшим стыдом, если бы какой-нибудь из его актов (хотя их было у него немного) оказался не фальшивым; таковые он готов был составлять по востребованию и охотнее даром, чем другой за хорошее вознаграждение. Лжесвидетельствовал он с великим удовольствием, прошенный и непрошенный; в то время во Франции сильно веровали в присягу, а ему ложная клятва была нипочем, и он злостным образом выигрывал все дела, к которым его привлекали с требованием: сказать правду по совести. Удовольствием и заботой было для него посеять раздор, вражду и скандалы между друзьями, родственниками и кем бы то ни было, и чем больше от того выходило бед, тем было ему милее. Если его приглашали принять участие в убийстве или каком другом дурном деле, он шел на то с радостью, никогда не отказываясь, нередко и с охотой собственными руками нанося увечье и убивая людей. Кошунствовал он на Бога и святых страшно, из-за всякой безделицы, ибо был гневлив не в пример другим. В церковь никогда не ходил и глумился неприличными словами над ее таинствами, как ничего не стоящими; наоборот, охотно ходил в таверны и посещал другие непристойные места. До женщин был охоч, как собака до палки, зато в противоположном пороке находил больше удовольствия, чем иной развратник. Украсть и ограбить он мог бы с столь же спокойной совестью, с какой благочестивый человек подал бы милостыню; обжора и пьяница был он великий, нередко во вред и поношение себе; шулер и злостный игрок в кости был он отъявленный. Но к чему тратить слова? Худшего человека, чем он, может быть, и не родилось. Положение и влияние мессера Мушьятто долгое время прикрывали его злостные проделки, почему и частные люди, которых он нередко оскорблял, и суды, которые он продолжал оскорблять, спускали ему. Когда мессер Мушьятто вспомнил о сэре Чеппарелло, жизнь которого прекрасно знал, ему представилось, что это и есть человек, какого надо для злостных бургундцев: потому, велел позвать его, он сказал: «Ты знаешь, сэр Чаппеллетто, что я отсюда уезжаю совсем; между прочим, есть у меня дела с бургундцами, обманщиками, и я не нахожу человека, более тебя подходящего, которому я мог бы поручить взыскать с них мое. Теперь тебе делать нечего, и если ты возьмешься за это, я обещаю снискать тебе расположение суда и дать тебе приличную часть суммы, какую ты взыщешь». Сэр Чаппеллетто, который был без дела и не особенно богат благами мира сего, видя, что удаляется тот, кто долго был ему поддержкой и убежищем, немедленно согласился, почти побуждаемый необходимостью, и объявил, что готов с полной охотой. На том сошлись. Сэр Чаппеллетто, получив доверенность мессера Мушьятто и рекомендательные королевские письма, отправился, по отъезде мессера Мушьятто, в Бургундию, где его никто почти не знал. Здесь, наперекор своей природе, он начал взыскивать долги мягко

и дружелюбно и делать дело, за которым приехал, как бы предоставляя себе расходиться под конец. Во время этих занятий, пребывая в доме двух братьев флорентинцев, занимавшихся ростовщичеством и чествовавших его ради мессера Мушьятто, он заболел. Братья тотчас же послали за врачами и людьми, которые бы за ним ходили, и сделали все необходимое для его здоровья; но всякая помощь была напрасна, потому что, по словам медиков, сэру Чаппеллетто, уже старику, к тому же беспорядочно пожившему, становилось хуже со дня на день, болезнь была смертельная. Это сильно печалило братьев; однажды они завели такой разговор по соседству с комнатой, где лежал больной сэр Чаппеллетто. «Что мы с ним станем делать? – говорил один другому. – Плохо нам с ним: выгнать его, больного, из дому было бы страшным зазором и знаком неразумия: все видели, как мы его раньше приняли, потом доставили ему тщательный уход и врачебную помощь – и вдруг увидят, что мы выгоняем его, больного, при смерти, внезапно из дому, когда он и не в состоянии был сделать нам что-либо неприятное. С другой стороны, он был таким негодяем, что не захочет исповедаться и приобщиться святых тайн, и если умрет без исповеди, ни одна церковь не примет его тела, которое бросят в яму, как собаку. Но если он и исповедается, то у него столько грехов и столь ужасных, что выйдет то же, ибо не найдется такого монаха или священника, который согласился бы отпустить их ему; так, не получив отпущения, он все же угодит в яму. Коли это случится, то жители этого города, которые беспрестанно поносят нас за наше ремесло, представляющееся им несправедливым, и которые не прочь нас пограбить, увидев это, поднимутся на нас с криком: «Нечего щадить этих псов ломбардцев, их и церковь не принимает!» И бросятся они на наши дома и, быть может, не только разграбят наше достояние, но к тому же лишат и жизни. Так или иначе, а нам плохо придется, если он умрет».

Сэр Чаппеллетто, лежавший, как я сказал, поблизости от того места, где они таким образом беседовали, при том изощренном слухе, какой часто бывает у больных, услышал, что о нем говорили. Велев их позвать к себе, он сказал: «Я не желаю, чтобы вы беспокоились по моему поводу и боялись потерпеть из-за меня. Я слышал, что вы обо мне говорили, и вполне уверен, что так бы все и случилось, как вы рассчитывали, если бы дело пошло так, как предполагаете. Но оно выйдет иначе. При жизни я так много оскорблял Господа, что если накануне смерти я сделаю то же в течение какого-нибудь часа, вины от того будет ни больше, ни меньше. Потому распорядитесь позвать ко мне святого, хорошего монаха, какого лучше найдете, если таковой есть, и предоставьте мне действовать: я наверно устрою и ваши и мои дела так хорошо, что вы останетесь довольны». Братья, хотя и не питали большой надежды, тем не менее отправились в один монастырь и потребовали какого-нибудь святого, разумного монаха, который исповедал бы ломбардца, занемогшего в их доме; им дали старика святой, примерной жизни, великого знатока Св. Писания, человека очень почтенного, к которому все горожане питали особое, великое уважение. Повели они его; придя в комнату, где лежал сэр Чаппеллетто, и подойдя к нему, он начал благодушно утешать его, а затем спросил, сколько времени прошло с его последней исповеди. Сэр Чаппеллетто, никогда не исповедовавшийся, отвечал: «Отец мой, по обыкновению я исповедоваюсь каждую неделю по крайней мере один раз, не считая недель, когда и чаще бываю на исповеди; правда, с тех пор, как я заболел, тому неделя, я не исповедовался: такое горе учинил мне мой недуг!» – «Хорошо ты делал, сын мой, – сказал монах, – делай так и впредь; вижу я, что мало мне придется услышать и спрашивать, так как ты так часто бываешь на духу». – «Не говорите этого, святой отец, – сказал сэр Чаппеллетто, – сколько бы раз и как ни часто я исповедовался, я всегда имел в виду принести покаяние во всех своих грехах, о каких только я помнил со дня моего рождения до времени исповеди; потому прошу вас, честнейший отец, спрашивать меня обо всем так подробно, как будто я никогда не исповедовался. Не смотрите на то, что я болен: я предпочитаю сделать неприятное моей плоти, чем, потакая ей, совершить что-либо к гибели моей души, которую мой Спаситель искупил своею драгоценною кровью». Эти речи очень понравились святому отцу и показались ему свидетельством

благочестивого настроения духа. Усердно одоббив такое обыкновение сэра Чаппеллетто, он начал его спрашивать, не согрешил ли он когда-либо с какой-нибудь женщиной? Сэр Чаппеллетто отвечал, вздыхая: «Отче, в этом отношении мне стыдно открыть вам истину, потому что я боюсь погрешить тщеславием». – «Говори, не бойся, никто еще не согрешал, говоря правду на исповеди или при другом случае». Сказал тогда сэр Чаппеллетто: «Если вы уверяете меня в этом, то я скажу вам: я такой же девственник, каким вышел из утробы моей матушки». – «Да благословит тебя Господь! – сказал монах. – Хорошо ты сделал и, поступая таким образом, тем более заслужил, что, если бы захотел, ты мог бы совершать противоположное с большей свободой, чем мы и все те, кто связан каким-либо обетом». Потом он спросил его, не разгневал ли он Бога грехом чревоугодия. «Да, и много раз», – отвечал сэр Чаппеллетто, глубоко вздохнув, потому что хотя он держал все посты в году, соблюдаемые благочестивыми людьми, и каждую неделю привык по крайней мере три раза поститься на хлебе и воде, тем не менее он пил воду с таким наслаждением и охотою, с каким большие любители пьют вино, особенно устав после хождения на молитву, либо в паломничестве; часто также у него являлся аппетит к салату из трав, какой собирают крестьянки, отправляясь в поле; иногда еда казалась ему более вкусной, чем следовало бы, по его мнению, казаться тому, кто, подобно ему, постничает по благочестию. На это отвечал монах: «Сын мой, эти грехи в природе вещей, легкие, и я не хочу, чтобы ты излишне отягчал ими свою совесть. С каждым человеком, как бы он ни был свят, случается, что пища кажется ему вкусной после долгого голода, а питье после усталости». – «Не говорите мне этого в утешенье, отец мой, – возразил Чаппеллетто, – вы знаете, как и я, что все, делаемое ради Господа, должно совершаться в чистоте и без всякой мысленной скверны; кто поступает иначе, грешит». Монах умилился: «Я очень рад, что таковы твои мысли, и мне чрезвычайно нравится твоя чистая, честная совестливость. Но, скажи мне, не грешил ли ты любостыжанием, желая большего, чем следует, удерживая, что бы не следовало?» Отвечал на это сэр Чаппеллетто: «Я не желал бы, отец мой, чтобы вы заключили обо мне по тому, что я в доме у этих ростовщиков; у меня нет с ними ничего общего, я даже приехал сюда, чтобы их усовестить, убедить и отвратить от этого мерзкого промысла, и, может быть, успел бы в этом, если бы Господь не взыскал меня. Знайте, что отец оставил мне хорошее состояние, большую часть которого я подал, по его смерти, на милостыню; затем, чтобы самому существовать и помогать нищей братье во Христе, я стал понемногу торговать, желая тем заработать, всегда разделяя свои прибытки с Божьими людьми, одну половину обращая на свои нужды, другую отдавая им. И так помог мне в том мой Создатель, что мои дела устраивались от хорошего к лучшему». – «Хорошо ты поступил, – сказал монах, – но не часто ли предавался ты гневу?» – «Увы, – сказал сэр Чаппеллетто, – этому, скажу вам, я предавался часто. И кто бы воздержался, видя ежедневно, как люди безобразничают, не соблюдая Божьих заповедей, не боясь Божьего суда? Несколько раз в день являлось у меня желание – лучше умереть, чем жить, когда видел я молодых людей, гоняющихся за соблазнами, клянувшихся и нарушающих клятву, бродящих по тавернам и не посещающих церкви, более следующих путям мира, чем путям Господа». – «Сын мой, – сказал монах, – это святой гнев, и за это я не наложу на тебя епитимии. Но, быть может, гнев побудил тебя совершить убийство, нанести кому-нибудь оскорбление или другую обиду?» – «Боже мой, – возразил сэр Чаппеллетто, – вы, кажется, святой человек, а говорите такие вещи! Да если бы у меня зародилась малейшая мысль совершить одно из тех дел, которые вы называли, неужели, думаете вы, Господь так долго поддерживал бы меня? На такие вещи способны лишь разбойники и злодеи; я же всякий раз, как мне случалось видеть кого-нибудь из таких, всегда говорил: «Ступай, да обратит тебя Господь!»» Сказал тогда монах: «Скажи-ка мне, сын мой, да благословит тебя Господь, не лжесвидетельствовал ли ты против кого-нибудь, не злословил ли, не отбирал ли чужое против желания владельца?» – «Да, мессере, говорил я злое против другого: был у меня сосед, без всякого повода то и дело бивший свою жену; я однажды и сказал о нем дурное родственникам жены; такую я жалость почувствовал к этой

бедняжке, которую он бог знает как колотил всякий раз, как напивался». — «Хорошо, — продолжал монах, — ты сказал мне, что был купцом; не обманывал ли ты кого, как то делают купцы?» — «Виноват, — отвечал сэр Чаппеллетто, — только не знаю, кого обманул: кто-то принес мне деньги за проданное ему сукно, я и положил их в ящик, не пересчитав, а месяц спустя нашел там четыре мелких монеты сверх того, что следовало; не видя того человека, я хранил деньги в течение года, чтобы отдать их ему, а затем подал их во имя Божие». — «Это дело маловажное, ты сделал хорошо, так распорядившись», — сказал монах. Кроме того, еще о многих других вещах расспрашивал его святой отец, и на все он отвечал таким же образом. Монах хотел уже отпустить его, как сэр Чаппеллетто сказал: «Мессер, за мной есть еще один грех, о котором я не сказал вам». — «Какой же?» — спросил тот, а этот отвечал: «Я припоминаю, что однажды велел своему слуге вынести дом в субботу, после девятого часа, позабыв достоподобное уважение к воскресенью». — «Маловажное это дело, сын мой», — сказал монах. «Нет, не говорите, что маловажное, — сказал сэр Чаппеллетто, — воскресный день надо нарочито чтить, ибо в этот день воскрес из мертвых Господь наш». Сказал тогда монах: «Не сделал ли ты еще чего?» — «Да, мессере, — отвечал сэр Чаппеллетто, — однажды, позабывшись, я плюнул в церкви Божьей». Монах улыбнулся. «Сын мой, — сказал он, — об этом не стоит тревожиться; мы, монахи, ежедневно там плюем». — «И очень дурно делаете, — сказал сэр Чаппеллетто, — святой храм надо паче всего содержать в чистоте, ибо в нем приносится жертва Божия». Одним словом, такого рода вещей он наговорил монаху множество, а под конец принялся вздыхать и горько плакать, что отлично умел делать, когда хотел. «Что с тобой, сын мой?» — спросил святой отец. Отвечал сэр Чаппеллетто: «Увы мне, мессере, один грех у меня остался, никогда я в нем не каялся, так мне стыдно открыть его: всякий раз, как вспомню о нем, плачу, как видите, и кажется мне, наверно Господь никогда не смилуетсЯ надо мной за это прегрешение». — «Что ты это говоришь, сын мой? — сказал монах. — Если бы все грехи, когда бы то ни было совершенные людьми или имеющие совершиться до скончания света, были соединены в одном лице и человек тот так же бы раскаялся и умилился, как ты, то столь велики милость и милосердие Божие, что Господь простил бы их по своей благодати, если бы Он их исповедал. Потому говори, не бойся». Но сэр Чаппеллетто продолжал сильно плакать: «Увы, отец мой, — сказал он, — мой грех слишком велик, и я почти не верю, чтобы Господь простил мне его, если не помогут ваши молитвы». — «Говори без страха, — сказал монах, — я обещаю помолиться за тебя Богу». Сэр Чаппеллетто все плакал и ничего не говорил, а монах продолжал увещевать его. Долго рыдая, продержал сэр Чаппеллетто монаха в таком ожидании и затем, испустив глубокий вздох, сказал: «Отец мой, так как вы обещали помолиться за меня Богу, я вам откроюсь: знайте, что, будучи еще ребенком, я выбрал однажды мою мать!» Сказав это, он снова принялся сильно плакать. «Сын мой, — сказал монах, — и этот-то грех представляется тебе ужасным? Люди весь день богохульствуют, и Господь охотно прощает раскаявшихся в своем богохульстве; а ты думаешь, что Он тебя не простит? Не плачь, утешься; уверяю тебя, если бы ты был из тех, кто распял Его на кресте, Он простил бы тебе: так велико, как вижу, твое раскаяние». — «Увы, отец мой, что это вы говорите! — сказал сэр Чаппеллетто. — Моя милая мама носила меня в течение девяти месяцев денно и нощно; и на руках носила более ста раз; дурно я сделал, что ее выбрал, тяжелый это грех! Если вы не помолитесь за меня Богу, не простится он мне». Когда монах увидел, что сэру Чаппеллетто не осталось сказать ничего более, он отпустил его и благословил, считая его святым человеком, ибо вполне веровал, что все сказанное сэром Чаппеллетто правда. И кто бы не поверил, услышав такие речи от человека в час смертный? После всего этого он сказал: «Сэр Чаппеллетто, с Божьей помощью вы скоро выздоровеете, но если бы случилось, что Господь призовет к себе вашу благословенную и готовую душу, не заблагорассудите ли вы, чтобы ваше тело было погребено в нашем монастыре?» — «Да, мессере, — отвечал сэр Чаппеллетто, — и я не желал бы другого места, так как вы обещали молиться за меня, не говоря уже о том, что я всегда был особенно предан вашему ордену. Потому прошу вас, как вернетесь к себе,

распорядиться, чтобы мне принесли истинное тело Христово, которое вы каждое утро освящаете на алтаре, ибо, хотя и недостойный, я желаю с вашего разрешения причаститься его, а затем удостоиться святого, последнего помазания, дабы, прожив в грехах, по крайней мере умереть христианином». Святой муж с радостью согласился, похвалил его намерение и сказал, что тотчас распорядится, чтобы ему все доставили. Так и было сделано.

Оба брата, сомневавшиеся, как бы не провел их сэр Чаппеллетто, поместились за перегородкой, отделявшей их от комнаты, где лежал сэр Чаппеллетто, и, прислушиваясь, легко могли слышать и уразуметь все, что сэр Чаппеллетто говорил монаху; слыша исповедь его проступков, они не раз готовы были прыснуть со смеха. «Вот так человек! – говорили они промеж себя, – ни старость, ни болезнь, ни страх близкой смерти, ни страх перед Господом, на суд которого он должен предстать через какой-нибудь час, ничто не отвлекло его от греховности и желания умереть таким, каким жил». Услышав, что его обещали похоронить в церкви, они перестали заботиться о дальнейшем. Вскоре после того сэр Чаппеллетто причастился и, когда ему стало хуже через меру, соборовался; в тот же день, когда совершилась его примерная исповедь, вскоре после вечерни он скончался. Потому оба брата, приготовив на средства покойного приличные похороны и послав сказать монахам, чтобы они, по обычаю, явились вечером для всенощного бдения, а утром на погребение, устроили все для того необходимое. Благочестивый монах, исповедовавший его, услышав об его кончине, переговорил с приором монастыря и, созвав колокольным звоном братию, рассказал им, какой святой человек был сэр Чаппеллетто, судя по его исповеди. Он выразил надежду, что ради него Господь проявит многие чудеса, и убеждал монахов принять его тело с подобающею честью и благоговением. Приор и легковверные монахи согласились; вечером отправились они туда, где лежало тело сэра Чаппеллетто; отслужили над ним большую торжественную панихиду, а утром в стихарях и мантиях, с книгами в руках и преднесением крестов, с пением отправились за телом и с большим почетом и торжеством отнесли его в церковь, сопровождаемые почти всем населением города, мужчинами и женщинами. Когда поставили его в церкви, святой отец, исповедовавший его, взойдя на амвон, начал проповедовать дивные вещи об его жизни и постничестве, девственности, об его простоте, невинности и святости и, между прочим, рассказал о том, что сэр Чаппеллетто, каясь, в слезах признал своим наибольшим грехом и как он насилу мог втолковать ему, что Господь простит ему. Затем, обратившись с укором к слушателям, он сказал: «А вы, проклятые Господом, хулите Бога и Матерь Его и весь райский лик по поводу каждой соломинки, попавшей вам под ноги!» И много еще другого говорил он о его доброте и чистоте. Вскоре своими речами, к которым деревенский люд относился с полной верой, он так вбил им в головы благоговейные помыслы, что по окончании службы все в страшной давке бросились целовать ноги и руки покойника, разорвали в клочки бывшую на нем одежду; и счастливым считал себя тот, кому досталась хоть частичка. Пришлось оставить его таким образом в течение всего дня, дабы все могли видеть и лицезреть его. Когда наступила ночь, его благолепно похоронили в мраморной гробнице, в одной капелле; на следующий день стал понемногу приходить народ, ставить свечи и поклоняться и приносить обеты и вешать восковые фигурки – по обещанию. Так возросла молва об его святости и почитание его, что не было почти никого, кто бы в несчастье обратился к другому святому, а не к нему. Прозвали его и зовут San Ciappelletto и утверждают, что Господь ради него много чудес проявил и еще ежедневно проявляет тем, кто с благоговением прибегает к нему.

Вот как жил и умер сэр Чаппеллетто из Прато; так-то, как вы слышали, он сделался святым. Я не отрицаю возможности, что он сподобился блаженства перед лицом Господа, потому что, хотя его жизнь и была преступной и порочной, он мог под конец принести такое покаяние, что, быть может, Господь смиловался над ним и принял его в Царствие Свое. Но это для нас тайна; рассуждая же о том, что нам видимо, я утверждаю, что ему скорее бы быть осужденным и в когтях диавола, чем в раю. Если это так, то мы можем познать в этом великую к нам милость

Господа, который, взирая не на наше заблуждение, а на чистоту веры и, несмотря на то, что мы делаем посредником Его милосердия Его же врага, которого принимаем за друга, так же внемлет нам, как если бы мы брали таким посредником действительно святого. Потому, дабы Его благодать сохранила нас в этом веселом обществе целыми и здоровыми среди настоящих бедствий, восхвалим Того, во имя которого мы собрались, вознесем Ему почитания и поручим Ему наши нужды, в твердой уверенности, что Он нас услышит. – Тут Памфило умолк.

Новелла вторая

Еврей Авраам, вследствие увещаний Джианнотто ди Чивиньи, отправляется к римскому двору и, увидя там развращенность служителей церкви, возвращается в Париж, где и становится христианином

Новелла Памфило, вызывавшая иногда смех у дам, в общем была одобрена. Ее выслушали со вниманием, и когда она была окончена, королева велела Неифиле, сидевшей рядом с Памфило, рассказать и свою новеллу, следуя установленному порядку развлечения. Неифила, отличавшаяся столько же приятностью обхождения, сколько и красотой, весело отвечала, что сделает это охотно, и начала так:

– Памфило в своем рассказе показал нам, что благодать Божия не взирает на наши заблуждения, если они исходят из причин, ускользающих от нашего ведения; я же хочу своим рассказом показать, что эта благодать, терпеливо перенося недостатки тех, которые должны были бы всеми своими действиями и словами свидетельствовать о ней истинно, а поступают наоборот, тем самым дает нам доказательство своей непреложности, дабы мы с тем большей твердостью духа следовали тому, во что веруем.

Мне рассказывали, любезные дамы, что в Париже жил один богатый купец и хороший человек, по прозванию Джианнотто ди Чивиньи, ведший обширную торговлю сукнами. Он был в большой дружбе с одним очень богатым евреем, по имени Авраам, также купцом и очень честным и прямым человеком. Джианнотто, зная его честность и прямоту, сильно сокрушался о том, что душа этого достойного, мудрого и хорошего человека, по недостатку веры, будет осуждена. Поэтому он принялся дружески просить его оставить заблуждения иудейской веры и обратиться к истинной христианской, которая, как он сам мог видеть, будучи святой и совершенной, постоянно преуспевает и множится, тогда как, наоборот, его религия умалется и приходит в запустение, – в чем он сам мог убедиться. Еврей отвечал, что он не знает более совершенной и святой религии, чем иудейская, и что он в ней родился, в ней намерен жить и умереть, и нет ничего, что бы могло отвратить его от этого намерения. Это, однако, не остановило Джианнотто, и через несколько дней он снова обратился к нему с подобными же речами, доказывая ему попросту, как это умеют делать купцы, по каким причинам наша религия лучше иудейской. Хотя еврей был большим знатоком иудейского закона, тем не менее, по большой ли дружбе, которую он питал к Джианнотто, или повлияли на него речи, вложенные Святым Духом в уста простого человека, только ему стали очень нравиться доводы Джианнотто, хотя, продолжая упорствовать в своей вере, он не позволял обратить себя. Как он упорствовал, так и Джианнотто не переставал убеждать его, пока, наконец, еврей, побежденный этой настойчивостью, сказал: «Хорошо, Джианнотто, ты хочешь, чтобы я сделался христианином, и я готов на это, но с тем, что сперва отправлюсь в Рим, дабы там увидеть того, кого ты называешь наместником Бога на земле, увидеть его нравы и образ жизни, а также его братьев кардиналов; если они представятся мне таковыми, что по ним и из твоих слов я убежусь в преимуществе твоей веры над моею, как это ты старался мне доказать, то я поступлю, как тебе сказал; коли нет, я как был, так и останусь евреем».

Выслушав это, Джианнотто был крайне опечален, говоря про себя: «Пропали мои труды даром, а между тем я думал употребить их с пользой, воображая, что уже обратил его. И в

самом деле, если он отправится к римскому двору и насмотрится на порочную и нечестивую жизнь духовенства, то не только не сделается из еврея христианином, но если бы и стал христианином, наверно перешел бы снова в иудейство». Затем, обратясь к Аврааму, Джианнотто сказал: «Друг мой, зачем хочешь ты подвергать себя такому труду и большим издержкам, сопряженным с путешествием в Рим? Не говоря уже о том, что для такого богатого человека, как ты, каждое путешествие, морем или сухим путем, исполнено опасностей, – уже не думаешь ли ты, что здесь не найдется никого, кто бы окрестил тебя? Если у тебя есть сомнения по вопросу о вере, которую я тебе разъяснял, где, как не здесь, найдешь ты больших ученых и более мудрых людей, которые растолкуют тебе, что пожелаешь, или то, о чем спросишь? Вот почему, по моему мнению, это путешествие излишне. Представь себе, что там прелаты такие же, каких ты мог видеть и здесь, и даже лучше, потому что ближе к верховному пастырю. Итак, по моему совету, побереги этот труд до другого раза, для какого-нибудь хождения к святым местам; тогда, быть может, и я буду тебе спутником». На это еврей отвечал: «Я верю, Джианнотто, что все так, как ты говоришь, но, сводя многое в одно слово, скажу тебе (если ты хочешь, чтобы я сделал то, о чем ты меня так просил), что я окончательно решил ехать; иначе я не сделаю ничего». Видя его решимость, Джианнотто сказал: «Поезжай с Богом», а в то же время подумал про себя, что, если он увидит римский двор, никогда не сделается христианином. На этом он успокоился, так как теперь ему делать было нечего.

Еврей сел на коня и поспешно отправился ко двору в Рим. Прибыв туда, он был с почетом принят своими единоверцами евреями и жил там, не говоря никому о цели своего путешествия, осмотрительно наблюдая образ жизни папы, кардиналов и других прелатов и всех придворных. Из того, что он заметил сам, будучи человеком очень наблюдательным, и того, что слышал от других, он заключил, что все они вообще прискорбно грешат сладострастием, не только в его естественном виде, но и в виде содомии, не стесняясь ни укорами совести, ни стыдом, почему для получения милостей влияние куртизанок и мальчиков было немалой силой. К тому же он ясно увидел, что все они были обжоры, опивалы, пьяницы, наподобие животных, служившие не только сладострастию, но и чреву, более чем чему-либо другому. Всматриваясь ближе, он убедился, что все они были так стяжательны и жадны до денег, что продавали и покупали человеческую, даже христианскую кровь и божественные предметы, какие бы ни были, относились ли они до таинства, или до церковных должностей. Всем этим они пуще торговали, и было на то больше маклеров, чем в Париже для торговли сукнами или чем иным. Открытой симонии они давали название заступничества, объединение называли подкреплением, как будто Богу не известны, не скажу, значения слов, но намерения развращенных умов, и его можно, подобно людям, обмануть названием вещей. Все это вместе со многим другим, о чем следует умолчать, сильно не нравилось еврею, как человеку умеренному и скромному, и потому, полагая, что он достаточно насмотрелся, он решил возвратиться в Париж, что и сделал.

Едва Джианнотто узнал, что он приехал, он пошел к нему, ни на что столь мало не рассчитывая, как на то, чтоб он стал христианином. Они радостно приветствовали друг друга, а когда еврей отдохнул несколько дней, Джианнотто спросил его, какого он мнения о святом отце, кардиналах и других придворных. На это еврей тотчас же ответил: «Худого я мнения, пошли им Бог всякого худа! Говорю тебе так потому, что, если мои наблюдения верны, я не видел там ни в одном клирике ни святости, ни благочестия, ни добрых дел, ни образца для жизни или чего другого, а любострастие, обжорство, любостяжание, обман, зависть, гордыня и тому подобные и худшие пороки (если может быть что-либо хуже этого) показались мне в такой чести у всех, что Рим представился мне местом скорее дьявольских, чем Божьих начинаний. Насколько я понимаю, ваш пастырь, а следовательно, и все остальные со всяким тщанием, измышлением и ухищрением стараются обратить в ничто и изгнать из мира христианскую религию, тогда как они должны были бы быть ее основой и опорой. И так как я вижу, что выходит не то, к чему они стремятся, а что ваша религия непрестанно ширится, являясь

все в большем блеске и славе, то мне становится ясно, что Дух Святой составляет ее основу и опору, как религии более истинной и святой, чем всякая другая. А потому я, твердо упорствовавший твоим увещаниям и не желавший сделаться христианином, теперь говорю откровенно, что ничто не остановит меня от принятия христианства. Итак, идем в церковь и там, следуя обрядам вашей святой веры, окрести меня». Жианнотто, ожидавший совершенно противоположной развязки, услышав эти слова, был так доволен, как никогда. Отправясь с ним в собор Парижской Богоматери, он попросил тамошних клириков окрестить Авраама. Услышав требование, они тотчас же это и сделали. Жианнотто был его восприемником и дал ему имя Джованни. Впоследствии он поручил знающим людям наставить его вполне в нашей вере, которую он скоро усвоил, оказавшись потом человеком добрым, достойным и святой жизни.

Новелла третья

Еврей Мельхиседек рассказом о трех перстнях устраняет большую опасность, уготованную ему Саладином

Когда Неифила умолкла, окончив новеллу, встреченную общей похвалою, по желанию королевы так начала сказывать Филомена: – Рассказ Неифилы привел мне на память опасный случай, приключившийся с одним евреем; а так как о Боге и об истине нашей веры уже было прекрасно говорено и не покажется неприличным, если мы снизойдем теперь к человеческим событиям и действиям, я расскажу вам новеллу, выслушав которую вы станете осторожнее в ответах на вопросы, которые могли бы быть обращены к вам. Вам надо знать, милые подруги, что как глупость часто низводит людей из счастливого в страшно бедственное положение, так ум извлекает мудрого из величайших опасностей и доставляет ему большое и безопасное успокоение. Что неразумие приводит от благосостояния к беде – это верно, как то видно из многих примеров, о которых мы не намерены рассказывать в настоящее время, имея в виду, что ежедневно их объявляются тысячи. А что ум бывает утешением, это я вам покажу, согласно обещанию, в коротком рассказе.

Саладин, доблесть которого не только сделала его из человека ничтожного султаном Вавилона, но и доставила ему многие победы над сарацинскими и христианскими королями, растратил в различных войнах и больших расходах свою казну; а так как по случайному обстоятельству ему оказалась нужда в большой сумме денег и он недоумевал, где ему добыть ее так скоро, как ему понадобилось, ему пришел на память богатый еврей, по имени Мельхиседек, отдававший деньги в рост в Александрии. У него, думалось ему, было бы чем помочь ему, если бы он захотел; но он был скуп, по своей воле ничего бы не сделал, а прибегнуть к силе Саладин не хотел. Побуждаемый необходимостью, весь отдавшись мысли, какой бы найти способ, чтобы еврей помог ему, он замыслил учинить ему насилие, прикрашенное неким видом разумности. Призвав его и приняв дружески, он посадил его рядом с собою и затем сказал: «Почтенный муж, я слышал от многих лиц, что ты очень мудр и глубок в божественных вопросах, почему я охотно желал бы узнать от тебя, какую из трех вер ты считаешь истинной: иудейскую, сарацинскую или христианскую?» Иудей, в самом деле человек мудрый, ясно догадался, что Саладин ищет, как бы уловить его на слове, чтобы привязаться к нему, и размыслил, что ему нельзя будет превознести ни одну из трех религий за счет других так, чтобы Саладин все же не добился своей цели. И так как ему представлялась необходимость в таком именно ответе, с которым он не мог бы попасться, он наострил свой ум, быстро надумал, что ему надлежало сказать, и сказал: «Государь мой, вопрос, который вы мне сделали, прекрасен, а чтобы объяснить вам, что я о нем думаю, мне придется рассказать вам небольшую повесть, которую и послушайте. Коли я не ошибаюсь (а, помнится, я часто о том слыхивал), жил когда-то именитый и богатый человек, у которого в казне, в числе других дорогих вещей, был чудеснейший драгоценный перстень. Желая почтить его за его качества и красоту и навсегда оставить его в своем потом-

стве, он решил, чтобы тот из его сыновей, у которого обрелся бы перстень, как переданный ему им самим, почитался его наследником и всеми другими был почитаем и признаваем за наибольшего. Тот, кому достался перстень, соблюдал тот же порядок относительно своих потомков, поступив так же, как и его предшественник; в короткое время этот перстень перешел из рук в руки ко многим наследникам и, наконец, попал в руки человека, у которого было трое прекрасных, доблестных сыновей, всецело послушных своему отцу, почему он и любил их всех трех одинаково. Юноши знали обычай, связанный с перстнем, и каждый из них, желая быть предпочтенным другим, упрашивал, как умел лучше, отца, уже престарелого, чтобы он, умирая, оставил ему перстень. Почтенный человек, одинаково их всех любивший и сам недоумевавший, которого ему выбрать, кому бы завещать кольцо, обещанное каждому из них, замыслил удовлетворить всех троих: тайно велел одному хорошему мастеру изготовить два других перстня, столь похожих на первый, что сам он, заказавший их, едва мог признать, какой из них настоящий. Умирая, он всем сыновьям тайно дал по перстню. По смерти отца каждый из них заявил притязание на наследство и почет, и когда один отрицал на то право другого, каждый предъявил свой перстень во свидетельство того, что он поступает право. Когда все перстни оказались столь схожими один с другим, что нельзя было признать, какой из них подлинный, вопрос о том, кто из них настоящий наследник отцу, остался открытым, открыт и теперь. То же скажу я, государь мой, и о трех законах, которые Бог-Отец дал трем народам и по поводу которых вы поставили вопрос: каждый народ полагает, что он владеет наследством и истинным законом, веления которого он держит и исполняет; но который из них им владеет – это такой же вопрос, как и о трех перстнях». Саладин понял, что еврей отлично сумел вывернуться из петли, которую он расставил у его ног, и потому решил открыть ему свои нужды и посмотреть, не захочет ли он услужить ему. Так он и поступил, объяснив ему, что он держал против него на уме, если бы он не ответил ему столь умно, как то сделал. Еврей с готовностью услужил Саладину такой суммой, какая требовалась, а Саладин впоследствии возвратил ее сполна, да, кроме того, дал ему великие дары и всегда держал с ним дружбу, доставив ему при себе видное и почетное положение.

Новелла четвертая

Один монах, впав в грех, достойный тяжелой кары, искусно уличив своего аббата в таком же проступке, избегает наказания

Уже Филомена умолкла, кончив свой рассказ, когда сидевший возле нее Дионео, не выждав особого приказания королевы, ибо знал, что по заведенному порядку ему приходится говорить, начал сказывать так: – Любезные дамы, если я точно понял ваше общее намерение, то мы сошлись сюда затем, чтобы, рассказывая, забавлять друг друга. Поэтому я полагаю, что всякому, лишь бы он не шел наперекор этому правилу, дозволено (а что это так, нам сказала недавно королева) рассказать такую новеллу, которая, по его мнению, наиболее принесет удовольствия. Мы слышали, как Авраам спас свою душу благодаря благим советам Джианното ди Чивиньи, как Мельхиседек своею находчивостью уберег свое богатство от ловушки Саладина; поэтому, не ожидая укоров с вашей стороны, я намерен кратко рассказать, какую хитростью один монах избавился от тяжелого наказания.

Был в Луниджьяне, области недалеко отсюда отстоящей, монастырь, более богатый святостью и числом монахов, чем теперь; в числе прочих был там молодой монах, силу и свежесть которого не могли ослабить ни посты, ни бдения. Однажды в полдень, когда все остальные монахи спали, а он один бродил вокруг своей церкви, находившейся в очень уединенном месте, он случайно увидел очень красивую девушку, быть может, дочь какого-нибудь крестьянина, которая ходила по полям, собирая травы. Едва увидел он ее, как им страшно овладело плотское вожделение; поэтому, приблизившись к ней, он вступил с нею в беседу, и так пошло дело от

одного к другому, что он, стакнувшись с нею, повел ее в свою келью, так что никто того и не заметил. Пока, увлеченный слишком сильным вождением, он баловался с нею, не особенно остерегаясь, случилось, что аббат, восстав от сна и проходя тихо мимо кельи, услышал шум, который они вдвоем производили. Чтобы лучше различить голоса, он осторожно подошел к двери кельи с целью прислушаться, распознал ясно, что внутри была женщина, и у него явилось искушение – велеть отворить себе; но затем он намыслил другой способ действия и, вернувшись в свою комнату, стал поджидать, пока монах выйдет. Монах же, хотя и отдавался величайшему наслаждению и удовольствию с той женщиной, не оставлял тем не менее и подозрений, и так как ему послышалось шарканье ног в dormitorio, он, приложив глаз к небольшой щели, увидел как нельзя более ясно, что аббат подслушивает, и отлично понял, что он мог дознаться о присутствии девушки в его келье. Зная, что за это ему воспоследует большое наказание, он сильно опечалился; тем не менее ничего не показав о своем горе девушке, он быстро сообразил многие средства, изыскивая, не найдется ли какое-нибудь для него спасительное; и пришла ему на ум необычайная хитрость, которая и привела прямо к задуманной им цели. Сделав вид, что он уже достаточно пробыл с той девушкой, он сказал ей: «Я пойду посмотрю, как тебе выйти отсюда незамеченной; потому сиди смирно, пока я не вернусь». Выйдя из кельи и заперев ее на ключ, он прямо отправился в покой аббата и, вручив ему ключ, как то делали, уходя, все монахи, с покойным видом сказал: «Мессере, сегодня утром я не успел велеть доставить все дрова, какие распорядился нарубить; потому, с вашего позволения, я пойду в лес и прикажу их привезти». Аббат, желая в точности разведать о проступке монаха и полагая, что он не догадался, что был им усмотрен, обрадовался такому случаю, охотно принял ключ и дал разрешение. Когда он увидел, что монах ушел, он принялся размышлять, как ему лучше поступить: отпереть ли келью в присутствии всей братии и обнаружить проступок, дабы потом у них не было повода роптать на него, когда он накажет монаха; либо наперед узнать от девушки, как было дело. Сообразив сам с собою, что то могла быть такая женщина, либо дочь такого человека, которой он не желал бы учинить стыда, показав ее всем монахам, он решился наперед посмотреть, кто она, а затем и решиться на что-нибудь. Тихо направившись к келье, он отпер ее и, войдя, запер дверь. Увидев аббата, девушка, вся растерянная, боясь посрамления, пустилась в слезы, а отец аббат, окинув ее глазами и увидев, что она красива и молода, хотя и был стар, внезапно ощутив не меньше позывы плоти, чем молодой монах, начал так про себя рассуждать: «Почему бы мне не отведать удовольствия, когда я могу добыть его? А неприятности и досады ведь всегда наготове, лишь бы захотеть. Она девушка красивая, и что она здесь, никто в мире того не ведает; если мне удастся уговорить ее послужить моей утехе, я недоумеваю, почему бы мне того не сделать? Кто об этом узнает? Никто не узнает и никогда, а скрытый грех наповину прощен. Такого случая, быть может, никогда не представится, и я полагаю великую мудрость в том, чтобы воспользоваться благом, коли Господь пошлет его кому-нибудь». Так говоря и совершенно изменив намерению, с каким отправился, он приблизился к девушке, принялся тихо утешать ее, прося не плакать; так, от слова к слову, он дошел до того, что открыл ей свои желания. Девушка была не из железа и не из алмаза и очень легко склонилась на желание аббата. Обняв и поцеловав ее много раз, он взобрался на постель монаха и, взяв во внимание почтенный вес своего достоинства и юный возраст девушки, а может быть, боясь повредить ей излишней тяжестью, не возлег на нее, а возложил на себя и долгое время с нею забавлялся.

Монах, будто бы ушедший в лес, скрылся в dormitorio и, как только увидел, что аббат один вошел в келью, совершенно успокоился, полагая, что его расчет будет иметь свое действие; увидев, что аббат заперся, он счел, что действие будет вернейшее. Выйдя из того места, где он обретался, он тихо подошел к щели, через которую слышал и видел все, что говорил либо делал аббат. Когда аббату показалось, что он достаточно пробыл с девушкой, он запер ее в келье и вернулся в свою комнату; спустя некоторое время, услышав шаги монаха и полагая, что он вернулся из леса, он решил сильно пожурить его и приказать заключить, дабы одному

владеть доставшейся добычей. Велев позвать его, он строго и с грозным видом побранил его и распорядился, чтобы его заперли в тюрьму. Монах тотчас же возразил: «Мессере, я еще недавно состою в ордене св. Бенедикта и не мог научиться всем его особенностям, а вы еще не успели наставить меня, что монахам следует подлежать женщинам точно так же, как постам и бдениям. Теперь, когда вы это мне показали, я обещаю вам, коли вы простите мне на этот раз, никогда более не грешить этим, а всегда делать так, как я видел, делали вы». Аббат, человек догадливый, тотчас постиг, что монах не только более смыслит в деле, но и видел все, что он делал; потому, угрызенный сознанием собственного проступка, он устыдился учинить монаху то, что сам, подобно ему, заслужил. Простив ему и наказав молчать о виденном, вместе с ним осторожно вывел девушку, и, надо полагать, они не раз приводили ее снова.

Новелла пятая

Маркиза Монферратская обедом, приготовленным из кур, и несколькими милыми словами подавляет безумную к ней страсть французского короля

Новелла, рассказанная Дионео, на первых порах слегка уязвила стыдом сердца слушавших дам, знаком чего был стыдливый румянец, показавшийся на их лицах, затем, переглядываясь между собою и едва удерживаясь от смеха, они, хихикая, дослушали рассказ. Когда он пришел к концу и они укорили рассказчика несколькими милыми словами, желая дать ему понять, что подобные новеллы не следует рассказывать дамам, королева, обратившись к Фьямметте, сидевшей с ней рядом на траве, приказала ей продолжать очередь. Грациозно и с веселым видом Фьямметта начала так: – Так как мне пришлось по нраву, что нашими новеллами мы принялись доказывать, какова сила находчивых, быстрых ответов, и по той же причине, что если в мужчине большим благоразумием является всегда искать любви женщины более родовитой, чем он, то в женщине величайшей осмотрительностью – уметь уберечься от любви к мужчине выше ее по положению: мне пришло в голову, прекрасные мои дамы, показать вам новеллой, которую мне приходится рассказать, как и какими поступками и словами одна благородная дама и сама сумела от одного уберечься и другое устранить.

Маркиз Монферратский, человек высокой доблести и гонфалоньер церкви, отправился за море в общем вооруженном хождении христиан. Когда однажды зашла речь о его храбрости при дворе короля Филиппа Кривого, также собиравшегося из Франции в тот же поход, какой-то рыцарь сказал, что под звездным сводом не найти другой такой пары, как маркиз и его супруга, потому что насколько между рыцарями маркиз был славен всякою доблестью, настолько его жена была красивейшею и достойнейшею между женщинами всего света. Слова эти так глубоко запали в душу французского короля, что, никогда не выдав ее, он внезапно воспылал к ней любовью и решил сесть на корабль для похода, в который снаряжался только в Генуе, дабы, отправившись туда сухим путем, иметь благовидный предлог посетить маркизу, рассчитывая, что, так как маркиза дома не было, ему представится возможность исполнить свое желание. И как задумал, так и сделал, потому что, отправив всех вперед, он с небольшой свитой дворян выступил в путь и, приблизившись ко владениям маркиза, за день послал сказать его жене, чтобы она ждала его на следующее утро к обеду. Маркиза, умная и догадливая, велела любезно ответить, что эта милость для нее выше всех других и что король будет желанным гостем. Затем она раздумалась, что бы это могло означать, что такой король готовится посетить ее в отсутствие ее мужа; и она не ошиблась в предположении, что его привела к ней молва об ее красоте. Тем не менее, как умелая женщина, она решила принять его с честью и, велев позвать оставшихся дома вельможных людей, с их совета распорядилась приготовить все нужное; но относительно обеда и припасов она пожелала озаботиться сама: приказав тотчас же собрать всех кур, какие только нашлись в окрестности, она из них одних заказала своим

поварам кушанья для королевского стола. И вот король явился в назначенный день и был принят дамой с большим торжеством и почетом. Когда он увидел ее, она показалась ему гораздо более красивой, достойной и учтивой, чем он представлял ее себе со слов рыцаря, и он сильно дивовался на нее и хвалил, тем более возгораясь в своих желаниях, чем более убеждался, что маркиза превышала его прежнее представление о ней. Когда он немного отдохнул в покоях, убранных всем, что подобало для принятия такого, как он, короля, и настал час обеда, король и маркиза уселись за одним столом, а прочие были чествуемы, согласно своему званию, за другими столами. Многочисленные блюда, поочередно подносимые, превосходные, драгоценные вина приносили великую утеху королю, с удовольствием поглядывавшему порой на прелестную маркизу. Тем не менее, когда одно блюдо стало являться за другим, король пришел в некое изумление, распознав, что хотя кушанья были и разные, но все изготовлены не из чего другого, как из кур. Королю хорошо известно было, что местность, где он находился, должна была изобиловать разной дичью и что, наперед объявив даме о своем прибытии, он тем самым дал ей время и срок для охоты; тем не менее, хотя и сильно удивленный, он пожелал объясниться с нею только по поводу кур; с веселым видом обратясь к маркизе, он сказал: «Разве в этой стране выводятся одни куры без петуха?» Маркиза отлично уразумела вопрос, и так как ей показалось, что сам Господь Бог послал ей удобный случай выразить свои помышления, она отвечала: «Нет, государь мой, но здешние женщины, хотя и несколько отличны от других одеждой и почетом, созданы так же, как и в других местах». Услышав эти слова, король хорошо понял повод к обеду из кур и тайный смысл речей и убедился, что с такой женщиной нечего тратить слов и нет места для насилия и что как сам он опрометчиво воспылал к ней, так поступит мудро и к своей чести, потушив не к добру разгоревшееся пламя. Не продолжая шуточного разговора из боязни ответов маркизы, он отобедал, оставив всякую надежду; когда обед кончился, он, дабы поспешным отъездом прикрыть нечестную цель своего посещения, поблагодарил ее за оказанные ему почести и, поручив ее Божии покровительству, отправился в Геную.

Новелла шестая

Некто уличает метким словом злостное лицемерие монахов

Когда все одобрили добродетель маркизы и милый урок, данный ею французскому королю, Емилия, сидевшая рядом с Фьямметтой, по желанию своей королевы, смело начала рассказ: – И я также не умолчу, как один почтенный мирянин уязвил скупого монаха словом столь же потешным, как и достойным похвалы.

Жил недавно тому назад, милые девушки, в нашем городе некий минорит, инквизитор нечестивой ереси, который, хотя и старался, как все они делают, казаться святым и рьяным любителем христианской веры, в то же время был не менее хорошим исследователем людей с туго набитым кошельком, чем тех, кто страдал умалением веры. При этой его ревности он случайно попал на одного порядочного человека, гораздо более богатого деньгами, чем умом, у которого, не по недостатку веры, а, говоря попросту, потому, вероятно, что он был возбужден вином и избытком веселья, сорвалось однажды в своем кругу слово, будто у него такое хорошее вино, что от него отведал бы и Христос. Когда о том донесли инквизитору, он, узнав, что у него были большие поместья и тугой кошелек, *cum gladiis et fustibus* и с великим спехом начал против него строжайший иск, ожидая от него не умаления неверия в обвиняемом, а наполнения собственных рук флоринами, как то и случилось. Вызвав его, он спросил, правда ли то, что о нем сказывают. Простак отвечал, что правда, и сказал, как было дело. На это святейший инквизитор, особый почитатель св. Иоанна Златоуста, сказал: «Итак, ты сделал Христа пьяницей, любителем добрых вин, точно он Чинчильоне или кто-нибудь из вашей братии, пьяниц и завсегдатаев таверн? А теперь ты ведешь смиренные речи, желая дать понять, что это дело

пустое. Не таково оно, как тебе кажется: ты заслужил за это костер, коли мы захотим поступить с тобой, как обязаны». Такие и многие другие речи он вел с ним с угрожающим видом, как будто тот был сам Эпикур, отрицающий бессмертие души. В короткое время он так настрашал его, что простак поручил неким посредникам умастить его руки знатным количеством мази св. Иоанна Златоуста (сильно помогающей против заразного недуга любостяжания клириков и особенно миноритов, которым не дозволено прикасаться к деньгам), дабы он поступил с ним по милосердию. Эту мазь, как вполне действительную, хотя Гален и не говорит о ней ни в одном из своих медицинских сочинений, он пустил в дело так и в таком обилии, что огонь, которым ему пригрозили, милостиво сменился знаком креста, а дабы флаг был красивее – точно кающемуся предстояло идти в крестовый поход, – положили ему желтый крест на черном фоне. Кроме того, получив деньги, инквизитор задержал его на несколько дней при себе, положив ему в виде эпитимии каждое утро быть у обедни в Санта Кроче и представляться ему в обеденный час; в остальную часть дня ему предоставлено было делать, что угодно. Все это он исполнял прилежно, когда однажды утром услышал за обедней Евангелие, из которого пелись следующие слова: «Вам воздастся сторицею, и вы унаследуете жизнь вечную». Точно удержав их в памяти и явившись, согласно приказанию, перед лицо инквизитора в час обеда, он застал его за столом. Инквизитор спросил его, был ли он у обедни этим утром. «Да, мессере», – поспешно ответил он. На это инквизитор сказал: «Не слышал ли ты при этом чего-нибудь, что вызвало в тебе сомнение и о чем ты желаешь спросить?» – «Поистине, – отвечал простак, – ни в чем, что я слышал, я не сомневаюсь, напротив, все твердо почитаю истинным. Слышал я, правда, кое-что, что возбудило во мне и еще возбуждает сильное сожаление к вам и вашей братии, монахам, когда подумаю я о несчастном положении, в котором вы обрететесь на том свете». Сказал тогда инквизитор: «Что это за слово, что побудило тебя к такому о нас сожалению?» Простак отвечал: «Мессере, то было слово Евангелия, говорящее: «Воздастся вам сторицею». Инквизитор сказал: «Воистину так, но почему же эти слова расстроили тебя?» – «Я объясню вам это, мессере, – отвечал простак, – с той поры, как я стал ходить сюда, я видел, как каждый день подают отсюда множеству бедного люда чан, а иногда и два большущих чана с похлебкой, которую отнимают у вас и у братии этого монастыря как лишнюю; потому, если на том свете за каждый чан вам воздается сторицею, у вас похлебки будет столько, что вам всем придется в ней захлебнуться». Хотя все другие, бывшие за столом у инквизитора, рассмеялись, инквизитор, почувствовав, что укол обращен против их похлебочного лицемерия, совсем смутился, и если бы не стыд за вчиненное простаку дело, он вчинил бы ему другое за то, что потешной остротой он уколол и его и других тунеядцев. С досады он разрешил ему делать, что заблагорассудится, и больше к нему не являться.

Новелла седьмая

Бергамино своим рассказом о Примасе и аббате Ключни ловко уличает необычную скупость Кане делла Скала

Забавный тон Емилии и ее новелла заставили и королеву и всех остальных смеяться, выхваливая небывалую выходку крестоносца. Когда смех прекратился и все успокоились, Филострато, за которым была очередь рассказывать, начал так: – Хорошо, достойные дамы, попасть в цель, которая не движется, но граничит почти с чудом, если что-нибудь необычайное покажется внезапно и стрелок внезапно же попадет в него. Греховная и грязная жизнь клириков, являющаяся во многих случаях почти точным показателем порочности, легко дает повод говорить о ней, укорять ее и порицать всякому, кто того желает; потому, хотя и хорошо сделал тот добрый человек, уличив инквизитора в лицемерном милосердии монахов, отдающих беднякам, что подобало бы отдать свиньям или выбросить, – более похвалы заслуживает, по моему мнению, тот, о котором я намерен рассказать, будучи наведен на то предыдущей новел-

лой: мессера Кане делла Скала, щедрого государя, он уязвил за внезапно и необычно проявившуюся в нем скупость, рассказав ему новеллу и в другом лице изобразив, что хотел сказать о себе и о нем. Рассказ следующий.

Как по всему свету гласит славная молва, мессер Кане делла Скала, которому счастье благоприятствовало во многом, был одним из самых замечательных и щедрых властителей, какие только известны были в Италии от времен императора Фридриха II и по сию пору. Затеяв устроить в Вероне знатное, чудесное празднество, к которому явилось бы со всех сторон множество народу, особенно потешных людей всякого рода, он внезапно, какая бы тому ни была причина, раздумал и, наградив некоторых из прибывших, отпустил их. Один только Бергамино, находчивый и красноречивый рассказчик, каким не представит его себе никто, кто его не слышал, не будучи ни награжден, ни отпущен, остался в надежде, что это случилось, быть может, не без будущей для него выгоды. Но у Кане засела мысль, что дать ему что-либо – хуже потратить, чем если бы бросить в огонь, и он не говорил и не поручал передать ему о том ни слова. По прошествии нескольких дней, когда Бергамино увидел, что его не зовут и ничего не требуют от его ремесла и что, кроме того, он со своими конями и слугами проживается в гостинице, его стала забирать меланхолия; а он все еще выжидал, полагая, что будет не ладно, если он уедет. С собою он привез три прекрасных, дорогих костюма, подаренных ему другими синьорами, чтобы с почетом предстать на праздник, но так как хозяин требовал платы, он сначала отдал ему один костюм, затем, оставшись более долгое время, второй и принялся уже питаться на счет третьего, решив остаться и посмотреть, на сколько его хватит, а там и уехать. И вот, когда он уже начал питаться на счет третьего, случилось однажды, что, когда мессер Кане сидел за обедом, Бергамино предстал перед ним с печальным видом. Увидел его мессер Кане и сказал, более затем, чтоб помучить его, чем потешиться какой-нибудь его прибауткой: «Что с тобой, Бергамино? Ты так печален; расскажи нам что-нибудь». Тогда Бергамино, недолго думая, но словно долго о том поразмыслив, тотчас рассказал, чтобы поправить свои дела, следующую новеллу.

– Государь мой, вам должно быть известно, что Примас был большой знаток латыни и, паче всякого другого, замечательный и находчивый стихотворец, и эти качества сделали его столь знаменитым и славным, что если лично его и не везде знали, не было почти никого, кто бы не знал по имени и молве, кто такой Примас. Случилось однажды, что он был в Париже в нищем виде, в каком большею частью обретался, потому что его доблести мало ценились людьми можными, и здесь услышал, как рассказывали об аббате Ключни, которого считают самым богатым, по доходам, прелатом, какие только есть в Божией церкви, за исключением папы; слышал он дивные вещи о его щедрости и что при его дворе постоянный праздник и никому, кто бы ни явился в его местопребывание, не было запрета есть и пить, лишь бы попросился, когда аббат за столом. Услышав о том, Примас, любивший водиться с именитыми людьми и синьорами, решился пойти и убедиться воочию в щедрости этого аббата, и спросил, далеко ли он живет от Парижа. Ему отвечали, что милях в шести, в своем поместье, и Примас рассчитал, что, выйдя рано утром, он может прибыть туда к обеденному часу. Попросив указать себе дорогу и не найдя никого, кто бы направлялся туда же, он побоялся, как бы ему, на его несчастье, не сбиться с пути и не зайти в такое место, где не так-то легко будет найти, что поесть; вот почему, на случай, если бы это приключилось и дабы ему не терпеть недостатка в пище, он решил захватить с собою три хлеба, полагая, что воды (хотя она ему и не особенно была по вкусу) он найдет всюду. Положив хлеба за пазуху, он отправился в путь, и так удачно, что ко времени обеда пришел к месту, где находился аббат. Войдя, он начал озираться кругом и, увидев множество накрытых столов и большие приготовления на кухне и все другое, потребное для обеда, сказал про себя: в самом деле этот аббат так щедр, как о нем говорят. Когда он некоторое время разглядывал кругом, сенешаль аббата велел подать воды для омовения рук, так как настал час обеда, и когда подали воду, рассадил всех за столом. Случилось так, что

Примаса посадили как раз против двери, из которой аббат должен был выйти в столовую. Был при его дворе такой обычай, что на стол никогда не подавалось ни вина, ни хлеба и никакой еды и питья, пока не сел аббат. Когда сенешаль накрыл на стол, велел доложить аббату, что ждет его приказа, а обед готов. Аббат велел открыть покой, откуда был выход в залу; проходя, посмотрел вперед себя, и первый, случайно попавшийся ему на глаза, был Примас, плохо одетый и по виду ему незнакомый. Увидел его, и тотчас же взбрела ему на ум нехорошая мысль, никогда дотоле не приходившая ему: кого только я кормлю от моего достатка! Вернувшись к себе, он велел запереть дверь и спросил бывших с ним, не знает ли кто того бродягу, что сидит за столом прямо против двери его комнаты? Все отвечали, что не знают. Примаса с прогулки и непривычки поститься разбирал голод; подождав немного и увидя, что аббат не выходит, он вынул из-за пазухи один из трех хлебов, которые принес с собою, и принялся есть. Ожидая некоторое время, аббат приказал одному из своих приближенных посмотреть, не ушел ли Примас. Тот отвечал: «Нет, мессере, напротив, он ест хлеб, и это доказывает, что он принес его с собою». – «Пусть ест свое, коли есть, – сказал аббат, – а нашего сегодня он есть не будет». Ему хотелось, чтобы Примас сам собою ушел, ибо ему казалось неприличным спровадить его. Когда съеден был один хлеб, а аббат не являлся, Примас принялся за второй; и это также доложено было аббату, велевшему поглядеть, не убрался ли он. Наконец, когда аббат все еще не выходил, Примас, съев второй хлеб, начал есть и третий. Когда о том сказали аббату, он начал так размышлять, говоря про себя: «Что это за небывальщина пришла мне сегодня в голову? Что за скупость, что за озлобление – и к кому же? Сколько лет кормил я с моего стола всех желающих есть, невзирая на то, дворянин ли то был или крестьянин, бедный или богатый, именитый ли то был человек или обманщик; собственными глазами видел я, как мое добро пожирали бесчисленные бродяги, и никогда мне в голову не приходила мысль, которую я питаю по отношению к этому человеку. Наверно, скарденность овладела мною не к простому человеку: в том, кто мне представляется бродягой, должно быть нечто особенное, если мой дух оказался столь неподатливым к чествованию его». Сказав это, аббат пожелал узнать, кто он такой; узнав, что это Примас, пришедший поглядеть на его щедрость, о которой наслышался, и издавна известный аббату по слухам за достойного человека, он устыдился и, желая загладить вину, принялся ублажать его на разные лады. После обеда велел его богато одеть, как приличествовало достоинству Примаса, и, снабдив его деньгами и конем, предоставил ему выбор: остаться у него или уехать.

Довольный этим, Примас воздал ему отменную благодарность и верхом вернулся в Париж, откуда пришел пешком.

Мессер Кане, как человек разумный, отлично понял, без всяких разъяснений, что разумел Бергамино, и, улыбаясь, сказал: «Бергамино, ты очень ловко показал свою обиду и искусство и мою скарденность – и то, чего ты от меня желаешь; поистине никогда скупость не овладевала мною, как только теперь, по отношению к тебе; но я прогоню ее той самой палкой, которую ты изобрел». И, велев уплатить хозяину Бергамино, одев его в свое богатое платье, снабдив деньгами и конем, предоставил на этот раз на его произвол – уехать или остаться при нем.

Новелла восьмая

Гвильельмо Борсьере в тонких выражениях укоряет в скупости мессера Эрмино де Гримальди

Рядом с Филострато сидела Лауретта; выслушав похвалы, которые расточали находчивости Бергамино, и зная, что ей придется рассказать нечто, она, не ожидая приказаний, так начала свой рассказ: – Предыдущая новелла побуждает меня, дорогие подруги, рассказать, каким образом один умелый потешник подобным же образом и небезуспешно укорил в скупости

сти богатейшего купца; и хотя эта новелла по своему содержанию и походит на прошлую, она будет вам не менее приятна, коли вы возьмете в расчет, какое в ее развязке получилось благо.

Итак, жил в Генуе много времени тому назад родовитый человек по имени мессер Эрмино де Гримальди, далеко превосходивший, как все полагали, богатством в громадных имениях и деньгах богатейших граждан, каких только знали в Италии. И как богатством он превосходил всех итальянских богачей, так, и через меру, скупостью и скарденностью всех скупцов и скряг на свете, ибо не только не открывал кошелька, чтобы учествовать других, но и сам, против обыкновения генуэзцев, привыкших богато рядиться, претерпевал, лишь бы только не тратиться, большие лишения во всем, равно как в еде и питье. Вот почему, и по заслугам, его фамилия – де Гримальди – предана была забвению, и все звали его мессер Эрмино Скареда. В то время как, ничего не тратя, он преумножал свое достояние, случилось, что в Геную прибыл умелый потешный человек, благовоспитанный и красноречивый, по имени Гвильельмо Борсьере, не похожий на нынешних, которых, к стыду людей развращенных и презренных, желающих в наше время зваться и считаться благородными, скорее следовало бы прозвать ослами, воспитанными среди грязной и порочной черни, а не при дворе. Тогда как в те времена ремеслом и делом потешных людей было улаживать мировые в случае распрей и недовольств, возникавших между господами, заключать брачные и родственные союзы и дружбу, развешивать прекрасными, игривыми речами усталых духом, потешать дворы и резкими упреками, точно отцы, укорять порочных в их недостатках – и все это за малое вознаграждение: теперь они ухитряются убивать свое время, перенося злые речи от одного к другому, сея плевелы, рассказывая мерзости и непристойности, и, что хуже, совершая то и другое в присутствии людей, возводя друг на друга все дурное, постыдное и мерзкое, действительное или нет; и тот из них более люб, того более почитают и поощряют большими наградами жалкие и безнравственные синьоры, кто говорит и действует гнуснее других: достойный порицания стыд настоящего времени – ясное доказательство того, что добродетели, удалившись отсюда, оставили бедное человечество в подонках пороков.

Возвращаясь к тому, с чего я начала и от чего удалило меня немного, против ожидания, справедливое негодование, скажу, что упомянутого Гвильельмо встретили с почетом и охотно принимали именитые люди Генуи. Пробыв несколько дней в городе и услышав многое о скупости и скряжничестве мессера Эрмино, он возымел желание увидеть его. Мессер Эрмино слышал, что Гвильельмо Борсьере – человек достойный, и так как в нем, несмотря на его скупость, была искорка благородства, принял его с дружественными речами и веселым видом, вступил с ним во многие и разнообразные беседы и, разговаривая, повел его и бывших с ним генуэзцев в новый красивый дом, который построил себе, и, показав его, сказал: «Мессер Гвильельмо, вы видели и слышали многое, не укажете ли вы мне что-нибудь, нигде не виданное, что бы я мог велеть написать в зале этого дома?» Услышав эти неподходящие речи, Гвильельмо сказал: «Мессер, не думаю, чтобы я сумел указать вам на вещь невиданную – разве на чох или что-либо подобное; но коли вам угодно, я укажу вам на одно, чего, полагаю, вы никогда не видали». Мессер Эрмино сказал: «Прошу вас, скажите, что это такое?» Он не ожидал, что тот ответит, как ответил. На это Гвильельмо внезапно сказал: «Велите написать: «Благородство»». Когда мессер Эрмино услышал эти слова, им внезапно овладел стыд настолько сильный, что он изменил его настроение духа в почти противоположное тому, каким оно было дотоле. «Мессер Гвильельмо, – сказал он, – я велю написать его так, что ни вы и никто другой никогда не будете иметь основания сказать мне, что я не видел и не знал его». С этих пор и впредь (такую силу оказало слово Гвильельмо) он стал наиболее щедрым и приветливым дворянином, чествовавшим иностранцев и горожан, чем кто-либо другой в Генуе в его время.

Новелла девятая

Король Кипра, задетый заживо одной гасконской дамой, из малодушного становится решительным

Оставалось лишь Елизе получить последнее приказание королевы; не ожидая его, она весело начала так: – Часто случалось, юные дамы, что чего не сделали с человеком разные укоры и многие наказания, то делало одно слово, нередко случайно, не то что намеренно сказанное. Это очень хорошо видно из новеллы, рассказанной Лауреттой, и я хочу доказать вам то же коротким рассказом, ибо хорошие рассказы всегда служат на пользу и их надо слушать со вниманием, кто бы ни был их рассказчиком.

Итак, скажу, что во времена первого кипрского короля, по завоевании святой земли Готфридом Бульонским, случилось одной именитой гасконской даме отправиться в паломничество ко гробу Господню и на обратном пути пристать в Кипре, где какие-то негодяи нанесли ей постыдное оскорбление. Не находя удовлетворения и сетуя, она надумалась обратиться к королю, но кто-то сказал ей, что труд будет напрасен, ибо король так малодушен и ничтожен, что не только не карает по закону оскорбления, нанесенные другим, но с презренной трусостью терпит множество оскорблений, учиняемых ему самому, почему всякий, у которого накопилось какое-либо неудовольствие, срывал его на нем, нанося ему обиды и стыдя его. Услышав об этом и отчаявшись получить удовлетворение, дама решила, дабы чем-нибудь утолить свой гнев, укорить короля в его малодушии и, отправившись к нему, с плачем сказала: «Государь мой, я пришла пред лицо твое не потому, что ожидаю удовлетворения за нанесенную мне обиду, а чтобы попросить тебя, в воздаяние за нее, научить меня переносить, подобно тебе, учиняемые тебе, как слышно, оскорбления, дабы, наученная тобой, я могла терпеливо перенести мое собственное, которое, Бог тому свидетель, я охотно уступила бы, если бы могла, тебе: ты ведь такой выносливый!» Король, до тех пор медлительный и ленивый, точно пробудился от сна и, начав с обиды, учиненной той женщине, за которую строго наказал, стал с тех пор и впредь сурово преследовать всех, что-либо учинявших противное чести его венца.

Новелла десятая

Маэстро Альберто из Болоньи учтиво стыдит одну женщину, желавшую его пристыдить его любовью к ней

Елиза умолкла; обязательство последнего рассказа оставалось за королевой, которая с женственной грацией начала говорить: – Достойные девушки, как в ясные ночи звезды – украшение неба, а весною цветы – краса зеленых полей, так добрые нравы и веселую беседу красят острые слова. По своей краткости они гораздо более приличествуют женщинам, чем мужчинам, потому что много и долго говорить, когда без того можно обойтись, менее пристойно женщинам, чем мужчинам, хотя теперь мало или вовсе не осталось женщин, которые понимали бы тонкую остроту или, поняв ее, сумели бы на нее ответить – к общему стыду нашему, да и всех живущих. Потому что ту уместность, которая отличала дух прежних женщин, нынешние обратили на украшение тела, и та, на которой платье пестрее и больше на нем полос и украшений, полагает, что ее следует и считать выше и почитать более других, не помышляя о том, что если бы нашелся кто-нибудь, кто бы все это навьючил или навесил на осла, осел мог бы снести гораздо большую ношу, чем любая из них, и что за это его сочли бы не более, как все тем же ослом. Стыдно говорить мне это, потому что не могу я сказать про других, чего бы не сказала против себя: так разукрашенные, подкрашенные, пестро одетые, они стоят словно мраморные статуи, немые и бесчувственные, и так отвечают, когда их спросят, что лучше было бы, если

бы они промолчали; а они уверяют себя, что их неумение вести беседу в обществе женщин и достойных мужчин исходит от чистоты духа, и свою глупость называют скромностью, как будто та женщина и честна, которая говорит лишь со служанкой или прачкой или своей булочницей; ведь если бы природа того хотела, как они в том уверяют себя, другим бы способом ограничила их болтливость. Правда, и в этом деле, как в других, надо брать в расчет время, и место, и лицо, с кем говоришь, ибо иногда случается, что женщина и мужчина думают острым словом заставить покраснеть кого-нибудь, но не соразмерят хорошенько свои силы с силами другого и ощущают, что та краска стыда, которую они хотели навести на него, обращается на них самих. И вот для того, чтобы мы умели остерегаться, и еще затем, чтобы на вас не оправдалась всюду ходящая пословица, что женщинам во всяком деле достается худшее, я желаю поучить вас последней из новелл этого дня, которую мне предстоит рассказать, дабы как благородством духа вы выделяетесь от других, так показали бы себя отличными и превосходством манер.

Не много лет прошло, как в Болонье жил, а может быть, еще и живет, знаменитейший и почти во всем свете славный медик, по имени маэстро Альберто. Уже старик под семьдесят лет, он обладал столь благородным духом, что, хотя естественный жар почти покинул его тело, он не избегал любовного пламени и, увидев на одном празднике красавицу вдову, по имени, как говорят, Мальгерита де Гизольери, сильно ему понравившуюся, воспринял это пламя в свою матерую грудь, как бы то сделал юноша; и ему казалось, что он не уснет покойно ночью, коли в предшествовавший день не поглядит на прелестное и нежное личико красавицы. По этой причине он постоянно показывался то пешком, то верхом, смотря по тому, как приходилось, перед домом той дамы, так что и она и многие другие догадались о причине его появлений и часто шутили промеж себя, что человек столь зрелый годами и умом – влюбился; точно они полагали, что прелестнейшая страсть любви содержится и обитает лишь в неразумных юношеских душах, а не в других. Когда маэстро Альберто продолжал являться, случилось однажды в праздник, что та дама, а с нею много других сидели перед дверью ее дома, и когда они увидели издали направлявшегося к ним маэстро Альберто, все вместе решили просить его к себе и оказать ему почет, а затем поглумиться над его страстью. Так и сделали; ибо, встав и пригласив его, повели его на прохладный двор, куда велели принести тонких вин и лакомств, а под конец в приятной и игривой форме задали ему вопрос: как могло статься, что он воспылал любовью к этой красавице, зная, что в нее влюблены многие красивые, благородные, прекрасные юноши? Поняв тонкий укор, маэстро отвечал с веселым видом: «Что я люблю, мадонна, не должно удивлять человека мудрого: особенно, что я люблю вас, ибо вы того стоите. И хотя у стариков, естественно, недостает сил, потребных для упражнения в любви, вместе с тем не отнято у них ни желание, ни понимание того, что значит быть любимым; а это они, естественно, тем более понимают, что у них и разума больше, чем у юношей. А надежда, побуждающая меня любить вас, мадонна, любимую столькими молодыми людьми, в следующем: я много раз видел, как, вечеряя, женщины ели лупины и порей; и хотя в порее ни одна часть не вкусна, менее дурна и приятнее на вкус его головка, вы все вообще, побуждаемые развращенным аппетитом, ее-то и держите в руках, а едите листья, не только ни к чему не годные, но и неприятные на вкус. Почем я знаю, мадонна, что, и выбирая ухаживателей, вы не поступаете таким же образом? Если так, я был бы избран вами, а другие отвергнуты». Дама, устыдившись немного, подобно другим, сказала: «Маэстро, вы очень хорошо и мило проучили нас за наше надменное намерение, во всяком случае, ваша любовь дорога мне, как должна быть дорога любовь столь мудрого и достойного человека; потому свободно располагайте мною, как своею собственностью, лишь бы соблюдена была моя честь». Поднявшись вместе со своими спутниками, маэстро, весело и смеясь, простился с дамой и ушел. Так, не разобрав, над кем подшучивает, она, рассчитывавшая на победу, сама оказалась побежденной; от этого вы отлично уберетесь, коли будете благоразумны.

Уже солнце склонялось к вечеру и жар значительно спал, когда рассказы юных дам и трех юношей пришли к концу. Потому королева сказала шутливо: «Теперь, дорогие подруги, мне ничего не остается сделать в этот день моего правления, как только дать вам новую королеву, и пусть она по своему усмотрению устроит на следующий день свою и нашу жизнь в целях пристойного развлечения. Казалось бы, что дню еще далеко до ночи, но так как тот, кто не распорядится заблаговременно, не может устроить хорошо будущее, и затем, дабы можно было приготовить все, что новая королева найдет нужным назавтра, я решаю, чтобы следующие дни начинались с этого часа. Поэтому, во имя того, кем все живет, и в наше утешение пусть нашим царством руководит на следующий день юная и разумная Филомена». Так сказав и поднявшись, она сняла с себя лавровый венок и, почтительно возложив его на Филомену, первая преклонилась перед ней, как перед королевой, за нею все другие, равно как и юноши, предоставляя себя ее власти. Филомена, несколько покрасневшая от стыдливости, когда увидела себя венчанной на царство, вспомнила недавние речи Пампинеи и, чтобы не показаться простушкой, ободрившись, во-первых, утвердила в должностях всех назначенных Пампинеей, распорядилась тем, что следовало приготовить на следующее утро и к будущему ужину, на том же месте, где они пребывали, а затем начала держать такую речь: «Дорогие подруги, хотя Пампинея, более по своей любезности чем за мое достоинство назначила меня вашей королевой, я тем не менее не расположена в устройении нашего образа жизни следовать только моему мнению, но вместе с моим – и вашему; а для того, чтобы вы знали, что, по-моему, следует сделать, и могли бы впоследствии по вашему усмотрению прибавить что-либо или умалить, я намерена разъяснить вам это в нескольких словах. Если я хорошо пригляделась сегодня к распоряжениям Пампинеи, они показались мне в одно и то же время достойными хвалы и ведущими к удовольствию; поэтому, пока они, вследствие частого повторения или по другой причине, не прискучат, я не считаю нужным отменять их. Итак, распорядившись тем, что мы уже начали приводить в исполнение, встанем и, весело погуляв, когда солнце пойдет на закат, поужинаем на холодке, а там, после нескольких песенок и других развлечений, хорошо будет и пойти спать. Завтра, поднявшись пока прохладно, также пойдем повеселиться куда-нибудь, чем кому по нраву; и как сделали сегодня, вернемся в урочный час к обеду; попляшем и, встав от сна, как сегодня, вернемся сюда для рассказов, в которых, по моему мнению, и заключается наибольшее удовольствие, а в то же время и польза. Правда, я хочу начать нечто, чего Пампинея не могла сделать, будучи поздно избранной к правлению: хочу ограничить некоторым пределом то, о чем мы станем рассказывать, и объявлять вам о том наперед, дабы у каждого было время придумать какую-нибудь хорошенькую новеллу на данный сюжет. Если вам это приглянется, то он будет таков: так как с начала мира люди бывали увлекаемы разными случайностями судьбы и будут увлекаемы до конца, то пусть каждый расскажет о тех, кто после разных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели». Женщины и мужчины равно одобрили такой порядок и сказали, что будут ему следовать. Один лишь Дионео заявил, когда все остальные уже умолкли: «Мадонна, как все другие сказали, так скажу и я, что порядок, вами указанный, чрезвычайно хорош и достоин похвалы; но от вашей особой милости я прошу дара, который пусть будет утвержден за мной, пока будет состоять это общество; и дар этот следующий: чтобы это постановление не обязывало меня сказывать новеллу на данный сюжет, если я того не захочу, и я мог бы рассказать, какую мне заблагорассудится. А дабы никто не подумал, что я прошу этой милости, как человек, у которого рассказов нет в запасе, я готов быть всегда последним из сказывающих». Королева, зная его за забавного и веселого человека и отлично понявшая, что он просит того единственно с целью развеселить общество, если б оно устало от рассуждений, какой-нибудь смехотворной новеллой, весело и при общем согласии даровала ему эту милость. Поднявшись, все тихими шагами направились к потоку, светлые воды которого спускались с пригорка в долину, тенистую от множества деревьев, среди диких камней и зеленой травы. Здесь, разувшись и оголив руки и бродя в волнах, дамы затеяли

промеж себя разные забавы. Когда приблизился час ужина, вернулись в палатцу, где поужинали с удовольствием. После ужина, когда принесли музыкальные инструменты, королева приказала завести танец, и чтобы вела его Лауретта, а Емилия спела канцону, сопровождаемая на лютне Дионео. Согласно этому приказу, Лауретта тотчас же начала и повела танец, а Емилия любовно запела следующую канцону:

Я от красы моей в таком очарованье,
Что мне другой любви не нужно никогда
И вряд ли явится найти ее желанье.

Когда смотрюсь в себя, я в прелестях моих
То благо нахожу, что дух наш услаждает,
И новый случай ли, мысль старая ль – но их,
Утех столь сладостных, ничто не прогоняет
И в мире, знаю я, мой взор не повстречает
Такого чудного предмета никогда,
Чтоб в душу новое мне влил очарованье.

В какой бы час себя ни пожелала я
Утешить благом тем, – оно навстречу зова
Спешит немедленно, – и тут душа моя
Вся наслаждения исполнена такого,
Что выразить его ничье не может слово,
И не поймет его тот смертный никогда,
Кто сам не испытал того очарованья.

А я, которая сгораю тем сильнее,
Чем более на нем свои покою взгляды, —
Вкушая уж теперь высокие улады,
Что мне сулит оно, – и в будущем отрады
Еще я большей жду, с какою никогда
Сравниться не могло б ничье очарованье.

Когда кончилась плясовая песня, которой все весело подпевали, хотя кое-кого она заставила и задуматься над ее словами, проплясали еще несколько мелких танцев. Уже прошла часть короткой ночи, и королеве угодно было положить конец первому дню; велел зажечь факелы, она приказала всем пойти отдохнуть до следующего утра, что все и сделали, вернувшись каждый в свой покой.

День второй

Кончен первый день Декамерона, начинается второй, в который, под руководством Филомены, рассуждают о тех, кто после разных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели

Уже солнце повсюду разлило своим светом новый день и птицы, распевая веселые песни на зеленых ветках, свидетельствовали о том во всеуслышание, когда дамы и трое юношей встали и пошли в сад, где, тихо ступая по росистой траве и плетя красивые венки из цветов, долгое время гуляли из одной стороны в другую. И как в прошедший день, так поступили и теперь: закусив, пока еще было прохладно, и занявшись пляской, они пошли отдохнуть; затем, встав в девятом часу, отправились, по усмотрению королевы, на свежий лужок и расселись вокруг нее. Она, красивая и привлекательная, с лавровым венком на голове, постояв в раздумье и окинув взором все общество, приказала Неифиле положить начало будущим рассказам. Та, без всяких оговорок, весело начала так рассказывать.

Новелла первая

Мартеллино, притворясь калекой, делает вид, что излечен мощами святого Арриго; когда его обман обнаружен, его быют и хватают, и он в опасности быть повешенным, но в конце спасается

– Часто случалось, дорогие дамы, что тот, кто пытался издеваться над другими, особенно над предметами, достойными уважения, оставался при своих шутках, иногда и к своему вреду. Вот почему, повинувшись велению королевы и дабы начать моей новеллой рассказы на поставленный ею вопрос, я намерена передать вам то, что приключилось с одним нашим согражданином, вначале несчастное, а потом, вне всякого его ожидания, и очень счастливое.

Недавно тому назад жил в Тревизо немец, по имени Арриго, который, будучи бедняком, носил тяжести по найму всем, кому требовалось; при всем том он считался человеком честным и святой жизни. По этой причине (правда ли, нет ли) случилось, что, когда он умер, в самый час его кончины, как утверждают тревизцы, все колокола главной церкви Тревизо, без чьего-либо прикосновения, принялись трезвонить. Приняв это за чудо, все стали говорить, что Арриго – святой, и когда народ со всего города сбегался к дому, где лежало его тело, понесли его, точно святые мощи, в главную церковь, куда стали приводить хромых, увечных, слепых и всех, пораженных какою-нибудь болезнью и недостатком, как будто всем надлежало исцелиться от одного прикосновения к этому телу.

Случилось, что во время этой суматохи и народного движения в Тревизо прибыло трое наших сограждан, из которых одного звали Стекки, второго Мартеллино, третьего Маркезе: люди, посещавшие дворы синьоров и потешавшие зрителей своими гримасами и необычным умением передразнивать всякого. Они, дотоле не бывавшие там никогда, удивились, увидя всех в суматохе, и, услышав тому причину, сами пожелали пойти и посмотреть. Оставили свои вещи в гостинице, а Маркезе и говорит: «Пойдем-ка поглядим на этого святого, только мне невдомек, как мы туда доберемся, ибо я слышал, что площадь полна немцев и другого вооруженного люда, которых туда поставил синьор этого города, чтобы не было беспорядков. Кроме того, и церковь, говорят, так набита народом, что никому больше не войти». Тогда Мартеллино, желавший на все это посмотреть, сказал: «За этим дело не станет, я уж найду средство добраться до святого тела». – «Каким образом?» – спросил Маркезе. Мартеллино отвечал: «Я расскажу тебе как: я прикинусь калекой, а ты с одной стороны, Стекки – с другой – пойдете, поддерживая меня, как будто я сам по себе не в состоянии идти, и представитесь, что хотите

вести меня туда, дабы тот святой исцелил меня; не будет никого, кто бы, увидев нас, не уступил нам места и не дал пройти». Маркезе и Стекки одобрили этот способ; не мешкая долго, они вышли из гостиницы и отправились втроем в уединенное место, где Мартеллино так скривил себе кисти и пальцы, руки и ноги, а к тому же и рот, глаза и все лицо, что казался страшилищем, и не было никого, кто бы, увидев его, не признал в нем человека, в самом деле искалеченного и разбитого.

Взявши его так изуродованного, Маркезе и Стекки направились к церкви, приняв благочестивый вид, смиренно и Бога ради прося каждого встречного дать им дорогу, чего добивались легко; в скором времени, обращая на себя внимание всех и при общих криках: «Посторонись, посторонись!», они добрались до места, где положено было тело святого Арриго. Несколько дворян, стоявших вокруг, быстро схватили Мартеллино и возложили его на тело, дабы таким образом он удостоился благодати здоровья. В то время как все внимательно смотрели, что станется с Мартеллино, он, погодив немного, принялся (а умел он это делать превосходно) показывать, будто разжимает один палец, потом кисть руки, потом всю руку и таким образом выпрямился весь. Увидев это, народ так завопил во хвалу святого Арриго, что и грома не было бы слышно.

Стоял там случайно поблизости один флорентинец, очень хорошо знавший Мартеллино, но не признавший его, когда его привели так изуродованного; теперь, увидев его выпрямленного и признав его, он вдруг захохотал и сказал: «Убей его Бог! Кто бы поверил, увидев, каким он пришел, что он в самом деле не калека?» Услышали эти слова некоторые тревизцы и тотчас же спросили: «Как так? Разве он не был калекой?» На это флорентинец отвечал: «Да нет же, ей-богу, он всегда был таким же прямым, как всякий из нас, только, как вы могли убедиться сами, он лучше всякого другого владеет умением принимать такой вид, какой ему вздумается». Как только они услышали это, большего не ждали, бросились напором вперед и принялись кричать: «Взять этого предателя, что глумится над Богом и святыми и, не будучи параличным, явился сюда в образе расслабленного, чтобы насмеяться над нашим святым и над нами!» Так говоря, они взяли его и стащили с места, где он был; схватив его за волосы и сорвав с него одежду, они принялись бить его кулаками и ногами; тот не счел бы себя мужчиной, кто бы не поспешил к нему за тем же делом. Мартеллино кричал: «Помилюсердуйте, ради Бога!» – и, насколько мог, отбивался; но это не помогало: толпа становилась вокруг него все больше и больше. Увидев это, Стекки и Маркезе стали говорить про себя, что дело плохо, но, боясь за самих себя, не решались помочь ему; напротив, вместе с другими кричали, что его следует убить, а тем не менее держали на уме, как бы извлечь его из рук народа, который наверно бы умертвил его, если бы не уловка, к которой внезапно прибегнул Маркезе. Отправившись, как только мог поспешнее, к стоявшей там страже синьории и обратившись к тому, кто был на месте подесты, он сказал: «Помогите, ради Бога! Какой-то мошенник отрезал у меня кошелек с сотней золотых флоринов; велите схватить его, пожалуйста, чтобы мне вернуть мое». Услышав это, двенадцать служилых людей тотчас же побежали туда, где бедного Мартеллино чесали без гребня, и, пробившись сквозь толпу с величайшими в мире усилиями, вырвали его из рук толпы, всего изломанного и истоптанного, и повели в ратушу. Сюда последовали за ним многие, считавшие себя осмеянными им, и, услышав, что он схвачен как воришка, также принялись показывать, что он и у них отрезал кошелек, так как они не находили другого, более подходящего предлога, чтобы насолить ему. Выслушав это, судья подесты, человек суровый, немедленно отведя Мартеллино в сторону, принялся его о том допрашивать, но Мартеллино отвечал шутками, как будто ни во что не ставил этот арест. Рассерженный этим, судья велел привязать его к дыбе и дать несколько хороших ударов, чтобы заставить его признаться в том, в чем те его обвиняли, а затем повесить. Когда Мартеллино снова спустили на землю и судья спросил его, правда ли то, что показывают на него те люди, Мартеллино, видя, что отнекивание ни к чему не поведет, сказал: «Господин мой, я готов открыть вам правду, но пусть каждый из обвиняющих объявит,

когда и где я отрезал у него кошелек, а я вам скажу, что я сделал и что нет». – «Хорошо», – отвечал судья и велел позвать нескольких; из них один говорил, что Мартеллино отрезал у него кошелек неделю тому назад, другой, что за шесть дней, третий за четыре, а иные показали, что в тот же самый день. Услышав это, Мартеллино сказал: «Господин мой, все они нагло лгут, а что я говорю правду, тому я могу привести доказательство; пусть бы мне никогда не бывать в этом городе, если я когда-либо вступал в него прежде, чем теперь, недавно тому назад! И как только я прибыл, пошел посмотреть на святое тело; тут меня и отделали, как видите. Что это истина, это вам могут подтвердить чиновник синьории, к которому предъявляются приезжие, его книга и, наконец, мой хозяин. Потому, если все окажется так, как я вам сказал, то соблаговолите не мучить и не изводить меня по просьбе этих негодяев».

Пока дело так обстояло, Маркезе и Стекки, услышав, что судья строго взялся за следствие и уже привязал Мартеллино к дыбе, перепугались сильно и говорили промеж себя: «Плохое дело мы учинили: со сковороды его стащили, а в огонь бросили!» Потому, принявшись усердно искать повсюду своего хозяина и найдя его, они объяснили ему все дело. Тот, рассмеявшись, повел их к Сандро Аголанти, жившему в Тревизо и бывшему в большой чести у синьора; рассказав ему все по порядку, он вместе с ними попросил его заняться делом Мартеллино. Сандро, вдоволь нахохотавшись, отправился к синьору и попросил послать за Мартеллино, что и было сделано. Те, что отправились за ним, нашли его в одной сорочке перед судьей совсем растерянного и сильно испуганного, потому что судья не хотел слышать никакого его извинения, напротив, питая некоторую нелюбовь к флорентийцам, был расположен повесить его и никоим образом не желал отдать его синьору, пока не принужден был сделать это против воли. Когда Мартеллино предстал перед синьором, он все рассказал ему по порядку и попросил его, на место всякой другой милости, отпустить его, потому что, пока он не будет во Флоренции, ему все будет чудиться петля на шее. Синьор много смеялся над этим приключением, подарил им по платью на человека, и все, втроем, избегнув, против ожидания, столь великой опасности, вернулись подобру-поздорову, восвояси.

Новелла вторая

Ринальдо д'Асти, будучи ограблен, является в Кагель Гвильельмо, где находит приют у одной вдовы и, вознагражденный за свои протори, возвращается домой здоров и невредим

Дамы без удержу смеялись над приключениями Мартеллино, о которых рассказала Неифила, а из юношей особенно смеялся Филострато, которому, как раз сидевшему рядом с Неифилой, королева и приказала продолжать рассказывать. Нимало не медля, он так начал: – Прекрасные дамы, мне напрашивается на рассказ новелла о вещах святых, смешанных отчасти с бедственными и любовными, – новелла, которую, быть может, будет бесполезно выслушать, особенно тем, которые странствуют по небезопасным юдолям любви, где часто случается, что кто не прочел молитвы св. Юлиану, находит плохой приют и при удобной постели.

Итак, во времена маркиза Аццо Феррарского один купец, по имени Ринальдо д'Асти, прибыл по своим делам в Болонью. Случилось, что, когда, устроив их и на пути домой, он выехал из Феррары, направляясь в Верону, он встретился с какими-то людьми, которые походили на купцов, а были разбойники и негодяи; он неосмотрительно вступил с ними в разговор и присоседился к ним. Те, увидев, что он купец, и полагая, что при нем деньги, решились его ограбить, лишь только представится время, а дабы у него не явилось подозрение, они, точно скромные и порядочные люди, беседовали с ним о вещах приличных и честных, показывая себя по отношению к нему, насколько могли и умели, обходительными и покорными, так что он счел большой удачей, что встретил их, потому что был один с своим верховым слугой.

Так путешествуя, переходя, как часто бывает в разговорах, от одного к другому, они напали на вопрос о молитвах, с которыми люди обращаются к Богу; один из разбойников, – а их было трое, – и говорит Ринальдо: «А ты, почтенный человек, какую молитву привык творить в пути?» Ринальдо отвечал: «По правде, в такого рода делах я простоват и груб, мало знаю молитв, живу по старине и считаю два сольда за двадцать четыре динара, тем не менее у меня было всегда обыкновение сказывать во время путешествия по утрам, выезжая из гостиницы, «Отче наш» и «Богородицу» за упокой отца и матери св. Юлиана, а затем уже молить Бога и святого, чтобы на следующую ночь они доставили мне хороший ночлег. Часто в моей жизни бывал я, путешествуя, в больших опасностях, избежав которые я все же попадал на ночь в хорошее место и на добрый ночлег; потому я твердо убежден, что св. Юлиан, в честь которого я творю эти молитвы, выпросил мне эту милость у Бога; и мне кажется, что и путь будет неудачен, и на ночь я неудачно пристану, если эту молитву не скажу утром». – «А сегодня утром сказывал ты ее?» – спросил его тот, кто обратился к нему. Ринальдо отвечал: «Разумеется». Тогда тот, уже знавший, как может повернуться дело, сказал про себя: «Тебе она еще понадобится, потому что, если только у нас не будет неудачи, ты, сдаешься мне, попадешь на дурной ночлег». После того он сказал ему: «Я также много странствовал и никогда не сказывал той молитвы, хотя многие, слышал я, очень одобряли ее, и никогда еще не случалось, чтобы я, несмотря на то, попадал на дурной ночлег, а сегодня вечером ты, может быть, сам убедишься, кто из нас лучше приютится: ты ли, прочтя молитву, или я, ее не сказавши. Правда, я употребляю вместо нее другие: «Dirupisti», или «Intemerata», либо «De profundis», молитвы, оказывающие большую помощь, как говаривала моя бабушка». Когда, беседуя таким образом о разных вещах, они продолжали путь, а те выжидали время и место для исполнения своего злого умысла, случилось, уже поздно, что по ту сторону Кастель Гвильельмо, при переправе через одну реку, те трое, рассчитав, что час не ранний и место уединенное и закрытое, напали на него, ограбили и, оставив его пешим и в одной сорочке, удаляясь, сказали: «Ступай и погляди, доставит ли тебе твой св. Юлиан хороший приют в эту ночь, а наш доставит его нам наверно». Переправившись за реку, они удалились. Служитель Ринальдо, увидев, что на него напали, будучи трусом, ничего не сделал, чтобы помочь ему, а повернув своего коня, погнал его, пока не прибыл в Кастель Гвильельмо, куда приехал вечером, и заночевал, не заботясь об остальном. Ринальдо, оставшись в одной рубашке и босым, при сильном холоде и не прекращавшемся снеге, не знал, что ему делать; заметя, что уже наступила ночь, он, дрожа и стуча зубами, начал озираться, не увидит ли какого-нибудь пристанища, где бы он мог провести ночь, не умерев от стужи. Не видя ничего (ибо во время войны, незадолго перед тем бывшей в том крае, все было выжжено), побуждаемый холодом, он бегом направился в Кастель Гвильельмо, не зная, однако ж, туда или в другое место убежал его слуга, и полагая, что, если он туда доберется, Господь пошлет ему какую-нибудь помощь. Но темная ночь застигла его почти в одной миле от замка, потому он прибыл туда так поздно, что ворота уже были заперты, мосты подняты, и ему нельзя было войти. Печальный и неутешный, он со слезами озирался, где бы приютиться, чтобы на него по крайней мере не падал снег; случайно он увидел дом, несколько выступавший вперед за стену местечка, и решил пойти под этот уступ и пробыть там до рассвета. Отправившись туда, он нашел под выступом дверь, хотя и запертую, внизу которой, унылый и грустный, он и расположился на соломе, подобранной по соседству, беспрестанно сетуя на св. Юлиана и говоря, что не того он заслужил своей в него верой. Но св. Юлиан имел о нем попечение и, недолго медля, приготовил ему хороший приют. Жила в том замке вдова, красавица собою, каких немного, которую маркиз Аццо любил пуще жизни и держал здесь для своей надобности; жила вышереченная дама в том самом доме, под выступ которого пошел укрыться Ринальдо. Случилось, что за день перед тем приехал маркиз, чтобы провести ночь с вдовою, тайно распорядился приготовить себе в ее доме ванну и хороший ужин, но когда все было готово и вдова ожидала лишь прихода маркиза, явился к воротам замка служитель и принес маркизу известия, вследствие

которых ему пришлось внезапно уехать. Поэтому, послав сказать даме, чтобы она не ждала его, он тотчас же отправился в путь; она, немного расстроенная, не зная, что делать, решила сама принять ванну, приготовленную для маркиза, а затем поужинать и лечь спать. Так она и села в ванну; а ванна была по соседству с дверью, у которой приютился с внешней стороны местечка бедный Ринальдо; потому, сидя в ванне, дама слышала, как он плакал и щелкал зубами, точно цапля; позвав свою прислужницу, она сказала ей: «Пойди наверх и посмотри, кто там за стеною у порога двери, кто он такой и что делает». Прислужница отправилась и, так как воздух был прозрачен, увидела Ринальдо, сидевшего, как сказано, в одной рубашке и без обуви и сильно дрожавшего. Она спросила его, кто он такой. Ринальдо, едва связывая слова от сильной дрожи, сказал ей, насколько мог кратко, кто он и как и почему он здесь, а затем принялся жалобно просить ее, чтобы она, по возможности, не дала ему умереть здесь ночью от холода. Растроганная этим, служанка вернулась к своей госпоже и все ей рассказала. Та, одинаково ощутив к нему жалость, вспомнила, что у ней есть ключ от той двери, иногда служившей для тайных посещений маркиза, и сказала: «Пойди и потихоньку отопри ему; вот и ужин, которого и есть некому, а приютить его места довольно». Много похвалив госпожу за такое человеколюбие, служанка пошла, отворила Ринальдо, и, когдапустила его, дама, увидев его почти окоченевшим, сказала: «Полезай-ка, друг, в эту ванну, она еще не остыла». Не ожидая дальнейших приглашений, он охотно это сделал, и когда тепло подкрепило его, ему показалось, будто он снова от смерти вернулся к жизни. Дама велела приготовить ему платье, бывшее ее мужа, незадолго перед тем умершего, и когда он надел его, оно оказалось будто сшитым по нем; в ожидании распоряжений хозяйки он принялся благодарить Бога и св. Юлиана, избавивших его от недоброй ночи, которую он себе чаял, и приведших его к хорошему, как ему мнилось, пристанищу.

Когда хозяйка немного отдохнула, приказала развести большой огонь в одной горнице и, пройдя туда, спросила, как тому человеку может быть. Служанка на это ответила: «Мадонна, он оделся, красивый мужчина и, кажется, хороший, благовоспитанный человек». — «Пойди-ка позови его, — говорит хозяйка, — скажи, чтобы пришел сюда погреться у огня, он и поужинает, ибо я знаю, что он не ужинал». Войдя в горницу и увидав даму, которая показалась ему из знатных, он почтительно приветствовал ее, воздав ей какую мог больше благодарность за оказанное ему благодеяние. Увидев и выслушав его и убедясь, что он действительно таков, как говорила ей служанка, дама весело приняла его, запросто посадила с собою у огня и расспросила о приключении, приведшем его сюда. Ринальдо рассказал ей все по порядку; дама уже слышала кое-что о том, когда слуга Ринальдо прибыл в замок, и потому, вполне поверив всему, что он ей рассказал, сообщила ему, что знала о его служителе и что на следующее утро ему легко будет разыскать его. Когда накрыли на стол, Ринальдо, по желанию хозяйки, совершив омовение рук, сел с нею вместе за ужин. Он был высокого роста, с красивым, приятным лицом и хорошими, изящными манерами, средней молодости; хозяйка, несколько раз окинув его глазами, очень его одобрила, и он запал ей на ум, так как ожидание маркиза на ночлег разбудило в ней похотливое чувство. После ужина, когда они встали из-за стола, она посоветовалась с своей служанкой: одобрит ли она ее, если, будучи обманутой маркизом, она воспользуется добром, которое судьба послала ей навстречу. Поняв желание своей госпожи, служанка, как могла и умела, убедила ее последовать ему; поэтому, вернувшись к камину, где она оставила Ринальдо, хозяйка стала смотреть на него любовно и сказала: «О чем вы так задумались, Ринальдо? Не о том ли, что вам не вернуть коня и кое-какого потерянного платья? Утешьтесь, будьте веселы: вы здесь как дома; скажу вам более: когда я увидела вас в этой одежде, бывшей моего покойного мужа, и мне показалось, что это — он, у меня сто раз являлось этим вечером желание обнять и поцеловать вас; и если бы не боязнь, что это вам не понравится, я наверно так бы и сделала». Услышав такие речи и видя блеск в глазах хозяйки, Ринальдо, как не дурак, подойдя к ней с распростертыми объятиями, сказал: «Мадонна, как подумаю я, что лишь благодаря вам я буду и впредь считать себя в числе живых, и представлю себе, от чего вы меня избавили,

было бы недостойным с моей стороны, если б я не потщился сделать все, что вам по вкусу; потому удовлетворите вашему желанию обнять и поцеловать меня, а я обниму и поцелую вас более чем охотно». Нужды в словах более не представилось. Хозяйка, вся горевшая любовным желанием, тотчас же бросилась в его объятия; когда, страстно прижавшись к нему, она тысячу раз поцеловала и столько же получила поцелуев, выйдя оттуда, они вместе отправились в покой, тотчас же легли и, прежде чем наступил день, много раз утолили свою страсть. Когда же начала заниматься заря, они, по желанию хозяйки, поднялись, а дабы про это дело кто-нибудь не проведал, она дала Ринальдо кое-какое дрянное платье, набила деньгами его кошель и, попросив его держать все в тайне и показав наперед, каким путем ему можно пойти, чтобы разыскать своего слугу, выпустила его через ту же калитку, в которую он вошел. Когда рассвело, он, будто придя издалека, вступил в замок, ворота которого были отворены, и нашел своего служителя; когда он переделся в свое платье, бывшее в чемодане, и уже готовился сесть на коня слуги, случилось каким-то чудом, что три разбойника, ограбившие его накануне вечером и схваченные вскоре после того за другое содеянное ими преступление, были приведены в замок; по их сознанию ему вернули его коня, платье и деньги, так что он ничего не потерял, кроме пары подвязок, о которых грабители не знали, куда их девали. Поэтому, возблагодарив Бога и св. Юлиана, Ринальдо сел на коня и подобру-поздорову вернулся восвояси; а три разбойника отправились на другой день давать пинка ветру.

Новелла третья

Трое юношей, безрассудно растратив свое состояние, обеднели; их племянник, возвращаясь домой в отчаянии, знакомится на пути с аббатом и открывает в нем дочь английского короля, которая выходит за него замуж, а он, возместив дядьям все их убытки, возвращает их в прежнее положение

Приключения Ринальдо д'Асти выслушаны были дамами с удивлением, похвалена его набожность и возданы хвалы Господу и св. Юлиану, помогшим ему в его крайней беде. И хотя о том и говорили наполовину втихомолку, не сочли несмышленной и женщину, которая сумела воспользоваться добром, посланным ей в дом Богом. Пока, усмехаясь, они рассуждали о прекрасной ночи, ею проведенной, Пампиней, сидевшая рядом с Филострато, догадавшись (как то и оказалось), что очередь дошла до нее, и сосредоточившись, принялась размышлять о том, что ей рассказать, и по приказу королевы весело и смело начала так: – Достойные дамы, чем более говорят о случайностях фортуны, тем более остается рассказать о них, если внимательно присмотреться к ее ходу. И этому никто не должен удивляться, если разумно сообразит, что все, что мы по безрассудству зовем своим, находится в ее руках и что, стало быть, она по своему тайному решению непрерывно передает все из одних рук в другие и из тех в эти, в порядке, нам неведомом. Хотя это очевидно и на всем оправдывается каждый день и уже доказано было в некоторых из предыдущих новелл, тем не менее, так как королеве заблагорассудилось, чтобы о том рассуждали, я присоединю к рассказанным, может быть, не без некоторой пользы для слушателей, и свою новеллу, которая, полагаю, вам понравится.

Был когда-то в нашем городе именитый человек, по имени Тедальдо, из рода, как полагают некоторые, Ламберти; другие утверждают, что он был из рода Аголанти, основываясь, быть может, скорее на ремесле, которым занимались впоследствии его сыновья, чем на чем ином, и соображаясь с тем, чем Аголанти всегда занимались и еще занимаются. Но, оставив вопрос о том, к какому из двух родов он принадлежал, скажу, что в свое время Тедальдо был богатейшим человеком и что у него были три сына: первый по имени Ламберто, второй Тедальдо, третий Аголанте, красивые и стройные юноши, хотя старший не достиг восемнадцатилетнего возраста, когда скончался богатейший мессер Тедальдо, оставив им, как своим законным наследникам, все свое движимое и недвижимое имущество. Очутившись богатыми

людьми, с деньгами и поместьями, они принялись необузданно и без удержу мотать, руководясь исключительно своими желаниями: держали множество слуг, много дорогих коней, собак и птиц, жили открыто, тратясь на подарки и турниры, делая не только все то, что пристало благородным людям, но и что им, как юношам, могло взбрести на ум. Недолго вели они такую жизнь, как казна, оставленная им отцом, стала убывать, и, так как на их обычные траты не хватало одних доходов, они принялись продавать и закладывать свои имения; продавая сегодня одно, завтра другое, они и не заметили, как остались почти ни при чем и нищета открыла им глаза, которые богатство держало замкнутыми. Поэтому, позвав однажды обоих братьев, Ламберто сказал им, каково было почетное положение их отца и каково их собственное, каково его богатство и бедность, до которой они дошли, беспутно мотая. И он убедил их, как только мог лучше, прежде чем объявится их нищета, продать то немного, что у них осталось, и вместе уехать. Так они и сделали и, ни с кем не простившись, без огласки оставив Флоренцию, не останавливаясь нигде, отправились в Англию. Здесь наняли в Лондоне небольшой домик, ограничив свои расходы, и рьяно принялись за ростовщичество; и так благоприистствовала им судьба, что в течение немногих лет они накопили большую сумму денег. Поэтому, вернувшись с ними во Флоренцию, один за другим, они выкупили большую часть своих поместий; кроме того, купили и другие, женились и, продолжая свое прежнее занятие в Англии, послали туда заведовать своим делом племянника, по имени Алессандро, а сами, забыв, до чего довели их прежде беспорядочные траты и несмотря на то, что обзавелись семьями, стали мотать пуще прежнего, пользуясь у всех купцов полным кредитом на любую значительную сумму денег. Покрывать эти траты помогали им в течение нескольких лет деньги, доставлявшиеся Алессандро, который принялся отдавать деньги в рост баронам под залог их замков и других доходов, что приносило ему большую выгоду. Пока три брата жили так широко, а при недостатке денег занимали их, возлагая твердую надежду на Англию, случилось, против общего ожидания, что в Англии возникла война между королем и его сыном, почему весь остров разделился на партии, кто стоял за одного, кто за другого, вследствие чего все замки баронов были отобраны у Алессандро и не стало других доходов, которые могли бы его обеспечить. Надеясь со дня на день, что между сыном и отцом произойдет перемирие и что ему вернут все – и капитал, и рост, Алессандро не покидал острова, а братья жили во Флоренции, ничем не ограничивая своих громадных трат, занимая с каждым днем более. Но так как в течение нескольких лет надежды не оправдывались событиями, три брата не только потеряли кредит, но и были внезапно схвачены, так как займодавцы желали быть удовлетворены; имения их были недостаточны для уплаты, за недочет они сами остались в тюрьме, а их жены и малые дети отправились в деревню, кто сюда, кто туда, обнищавшие, не зная, чего иного им и ожидать, кроме вечной нищеты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.